

“Философия по краям”

Международная коллекция современной мысли  
Литература. Искусство. Политика

## Маркиз де Сад и XX век

*Редакционный совет*

С. Бак-Морс (США)  
Ф. Гваттари (Франция)  
Ж. Деррида (Франция)  
Ф. Джеймисон (США)  
Л. Ионин (Россия)  
А. Майклсон (США)  
М. Мамардашвили † (Грузия)  
Ж.-Л. Нанси (Франция)  
В. Подорога (Россия)  
А. Руткевич (Россия)  
М. Рыклин (Россия)  
М. Ямпольский (Россия)

*Научный секретарь*

Е. Петровская (Россия)

*Издание осуществлено  
при финансовой поддержке  
Министерства иностранных дел  
Французской Республики  
и при содействии  
Отдела культуры, науки и техники  
Посольства Франции  
в Москве*



Москва, РИК “Культура”, 1992

ББК 84.34 фр  
М27

Составление, сверка переводов и комментарии

*М.К. Рыклина*

Редактор

*А.Т. Иванов*

Художественное оформление коллекции

*Ю.А. Маркова*

**М27 Маркиз де Сада и XX век. Пер. с франц. — М.: РИК  
“Культура”, 1992. — 256 с.**

Литературное наследие маркиза де Сада (1740—1814) — автора нашумевших своей “непристойностью” романов “Жюстина”, “120 дней Содома”, “Жюльетта” и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам “божественный маркиз” стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж. Батая, П. Клоссовски, М. Бланшо, Р. Барта, А. Камю и др.), посвященные творчеству Сада, вводят читателя в особый мир языкового насилия и позволяют ему лучше понять смысл философских дискуссий конца XX века. Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современной культуры.

М  $\frac{4700000000-002}{Б59(02)-92}$  без объявл.

Редакция литературы по философии и эстетике

ISBN 5—8334—0006—6

- © Éditions Gallimard, 1951, 1955
- © Éditions de Minuit, 1957, 1963
- © Mercure de France, 1989
- © Éditions du Seuil, 1967, 1971
- © Составление, комментарии, перевод на русский язык, художественное оформление РИК “Культура”, 1992

## Содержание

- 7.....Михаил Рыклин  
*Нетки в зеркалах*
- 18.....Жильбер Лели  
*Садо-мазохизм Сада*  
Перевод М. Рыклина
- 25.....Пьер Клоссовски  
*Сад и Революция*  
Перевод Г. Генниса
- 47.....Морис Бланшо. Сад  
Перевод В. Лапицкого
- 89.....Жорж Батай  
*Сад и обычный человек*  
Перевод Г. Генниса
- 117.....Жорж Батай  
*Суверенный человек Сада*  
Перевод Г. Генниса
- 133.....Симона де Бовуар  
*Нужно ли аутодафе?*  
Перевод Н. Кротовской и  
И. Москвиной-Тархановой
- 170.....Альбер Камю. Литератор  
Перевод Ю. Денисова
- 183.....Ролан Барт. Сад-I  
Перевод С. Козлова
- 211..... Приложения
- 211..... Даты жизни маркиза де Сада
- 230..... Библиография первых и  
оригинальных изданий  
произведений маркиза де Сада
- 233..... Комментарии

## Михаил Рыклин

### *Нетки в зеркалах*

Запретный плод, как известно, сладок не потому, что он утоляет жажду, а потому что его безмерно жаждут: счастливый предшественник желания, он обладает продуктивностью, всегда внешней самому себе.

Ускользание от интерпретации относится к особенностям текстов маркиза де Сада. В самой их сердцевине как бы заключена лакуна, чисто телесное визионерство, слишком наглядное для того, чтобы стать просто наглядным. Этот автор доводит до пароксизма известную философскую проблему: никакой поступок не может быть совершен по “идейным” соображениям, он всегда чрезмерен по отношению к своему обоснованию. Сад дереализует зрение как “агрегат умозаключений” (Пруст) или то, что философы обычно называют мышлением, вместо Бога обожествляя непомерность первичного телесного жеста, делая этот жест непредсказуемо спонтанным. С чем трудно свыкнуться в текстах Сада с их чисто фиктивной универсальностью, — так это с триумфом частного непредсказуемого жеста, опережающего трансцендентное, не дающего ему возникнуть. Разум остается наедине со своим работающим эквивалентом — контролируемым безумием.

Мы оказываемся в мире телесных автоматов, которые на наших глазах — верх неприличия и логической невозможности — выдавливают всеобщее, в том числе и Бога, из случайностей своего собственного устройства. Мы задыхаемся от очевидности и необычайной ловкости подмены; нам трудно примириться с идеей божественности механизма, ведь в таком случае не гарантировано наше собственное существование, из-под него выбивается основание, оно становится имманентным самому себе. А тут еще “автор-негодяй” (термин П.Клоссовски) неустанно нам об этом напоминает.

В такой реакции нет ничего необыкновенного, скорее, было бы необыкновенным, если бы мы лицемерно реагировали иначе. Никогда и никто не делал из физической этики материалистов таких парадоксальных выводов, как Сад. Гольбах, Гельвеций и Ламетри еще просто-душно надеялись примирить физическую этику с чисто нравственной реформой человеческого существа, Сад же проникся убеждением, что эта этика с необходимостью вызывает к жизни принципиально новые тела, разрушающие не только известные тогдашним физиологам организмы, но и все возможные организмы вообще. Речь, понятно, идет о несобственных телах, для которых “монми” делаются принципиально все органы других, на которые почему-то — это у Сада великое неиз-

вестное — направляется вектор моего желания;\* но и, наоборот, я уступаю “свои” органы всем возможным другим. Более того, они принадлежат исключительно им. Т.е. с физической этикой у Сада оказывается сопряженной вовсе не обычная моральная реформа, а гигантская человеческая мутация, телесный катаклизм.

Неверно, впрочем, полагать, что все творчество Сада располагается под знаком этого катаклизма; у него есть стили письма, — например, все его обильное театральное наследие, переписка, сборник новелл “Преступления из-за любви” и т.д., — на которые указанный катаклизм отбрасывает лишь довольно слабый отблеск. Не потому ли почти все интерпретаторы, точнее, экзегеты Сада либо вообще проходят мимо этих текстов, либо ограничиваются тем, что разбирают сам этот отблеск?

Слишком велик заключенный в запретном плоде соблазн. В результате база истолкований Сада сужается до примерно двух третей из тридцати томов его опубликованных сочинений: ее составляют все три версии “Жюстини”, “Жюльетта”, “Философия в будуаре” и, конечно же, шедевр Сада с точки зрения его неприемлемости, “120 дней Содома”. (Думается, что сам позаимствованный из филологии термин “истолкование” применим к текстам Сада с большими оговорками, ибо трудно говорить о филологической трезвости по отношению к романам, главным свойством которых является как раз опьянять.)

Эти тексты эротизируют интерпретатора. Пока провокационная стратегия Сада оправдывает себя, разделяя пишущих о нем на сообщников и врагов, никакого научного садоведения, если иметь в виду Сада-писателя, не существует, и есть основания сомневаться в том, что оно вообще возможно. Создается впечатление, что попытки литературоведения растворяются в пустоте, составляющей сердцевину творчества Сада, то главное, что он хотел до нас донести. К человеческой культуре он относился с таким суверенным презрением, что никакому культурному продукту не удастся сделать это презрение предметом своего анализа. Ведь для этого его надо было бы предварительно приручить\*\*.

Добротная литература не может простить Саду его неудавшийся флирт с принципом реальности. Она, в лице Альбера Камю и Симоны де Бовуар, упрекает его в том, что какие-то усилия по освоению мира, управляемого здравым смыслом, в случае Сада либо не были проделаны вовсе, либо патетически провалились. При этом от них (столь пронизательных во всех других отношениях) ускользает одно существ-

\* Это безмерное желание не имеет ничего общего с желанием в психоаналитическом понимании, — конечным, но нереализуемым; напротив, оно бесконечно и реализуемо.

\*\* Все сказанное относится исключительно к Саду-литератору, ибо ряд других его ипостасей к настоящему времени достаточно освоен “садоводами” и тем самым лишен присущей им в прошлом суверенности.

венное обстоятельство, а именно то, что маркиз де Сад не отменил принцип реальности “натурально”, а вывел его за скобки позитивно, предварительно продублировав его в каждой точке своих текстов. Тексты эти просто перестали нуждаться в “этой опасной прибавке” (термин Руссо, разбираемый Ж. Деррида в его работе “О грамматиологии”). Тем самым он не оказал услуги никакой существующей литературе, не придумал новой формы декорирования жизни, не создал никаких новых знаков ее притяжения, оправдывающих существование литературы нормальной; он был во всех этих отношениях, напротив, достаточно банален, чтобы не выделяться среди других по цеховым, т.е. в узком смысле литературным признакам. И тем не менее, все те, кто объявлял Сада средним литератором его времени, слезливым последователем Руссо, мягко говоря, не были до конца искренними. С их стороны это были всегда весьма патетические утверждения, обнажавшие тот нерв, который этот автор действительно в них задел. Чуждость не так далеко отстоит от нормальности, как это принято полагать, и, говоря о монотонности, банальности текстов Сада, мы не более как связываем его письмо с конвенциональной литературой. И тем самым указываем на то, что и так бросается в глаза: как нормальная литература это письмо не состоялось. Весь вопрос, следовательно, в том, можем ли мы судить Сада в соответствии с критериями современной ему словесности или же мы соглашаемся принять новые критерии, которые выработал он сам. В последнем случае и всю остальную литературу придется оценивать в соответствии с этими новыми критериями. Предлагаемый сборник эссе о Саде достаточно красноречиво свидетельствует: Батай, Бланшо, Клоссовски, Барт пошли именно вторым путем, высвечивая в маркизе прежде всего его невозможность как литератора.

Пожалуй, самая очевидная, бросающаяся в глаза черта текстов Сада — их совершенная освещенность, создающая иллюзию полной зримости происходящего. Источники света при этом так умело расположены, что от нас скрывается ускользающая реальность самой сцены: мы можем представить себе эти тела только освещенными, только при свете рамп, отключение света равносильно прекращению письма. У Сада, как точно подметили де Бовуар и Камю, почти не развито нормальное писательское любопытство к неосвещенным аспектам реальности, которое, по осмысленной аналогии с наукой, иногда называют наблюдением. Точнее, наблюдательность этого автора относится исключительно к миру становления и произвола, а не к миру уже сотворенных, организованных существ. Письмо Сада является “адамическим” и совершается в презумпции того, что до него в мире не имел места ни один креативный акт (и прежде всего сам акт творения); оно не стесняется шокировать здравый смысл абсурдностью утверждения, что мир, мол, еще только надо сотворить.

Не случайно поэтому основные точки возбуждения приходятся в романах Сада на те места, где на сцену выводится Бог как независимый творческий принцип: ведь только он своим существованием гаранти-

рует реальность, внутри которой должен совершаться нормальный литературный акт. Страстность атеизма Сада прямо пропорциональна бескомпромиссной гиперреальности отстаиваемого им мира, мира, в котором все источники света подвластны исключительно самому пишущему. Бог в его текстах фигурирует в несвойственной ему ипостаси конкурента: он незаконен, потому что врывается в мир со своими общепринятыми осветительными приборами, лишая монополию главного и единственного Осветителя (излишне повторять, что им не мог быть Сад как личность, что принцип безмерных притязаний самого этого письма неантропоморфен).

Читатель постоянно оказывается наедине с парадоксом, который делает чтение текстов Сада довольно мучительным занятием: с точки зрения этого романиста, только совершенно фиктивный, выдуманный мир, не нуждающийся ни в какой внешней поддержке, и может быть до конца реальным. Причем эту "дурную реальность" исключительно трудно страхнуть с себя, она совершенно зрима, хотя одновременно мы имеем все основания подозревать, что и сама сцена и движущиеся на ней фигуры — выдумка самого Осветителя, узурпировавшего основные божественные функции. Бог становится литературно невозможным, но вместе с тем и необходимым как незаменимый по своей искусности провокатор, борьба с которым занимает произвольного Осветителя куда больше, чем тот или иной "отклоняющийся" сексуальный акт. Постоянно обличая Бога как ложного претендента, произвольный Осветитель претендует на статус бесконечно волевого существа, энергетически равного Богу. Особенно в романах Сада раздражает то, что, с точки зрения его собственных, заведомо искусственных, предпосылок, этот мир совершенно неопровержим. Трудно примириться с мыслью, что абсолютному произволу может соответствовать неопровержимость, которую издавна привыкли связывать с законом достаточного основания. Шокирует, собственно, то, что произвол может оказаться достаточным основанием: ведь логически (и Сад это прекрасно знает) этого нельзя ни допустить, ни опровергнуть.

В эссе "Философ-злодей" П. Клоссовски прекрасно показал, как с помощью интегрального атеизма Сад отделяется от благочестивой наивности так называемого рационального атеизма и диалектики, тешащих себя мыслью, что допустимо делать зло во имя некоего гипотетического Блага. Химически и нравственно чистое Зло Сада не позволяет убаюкать себя подобными фантазиями, принципиально отказывается черпать в них энергию исторического оптимизма.

Не случайно поэтому, что лучшие интерпретаторы Сада полностью интериоризовывали его литературно Невозможное в своем собственном письме, т.е. были не толкователями, а симуляторами, а в более простых случаях и соучастниками (этого не избежали, в частности, все биографы Сада: Ж. Лели, М. Эне, Ж.-Ж. Повер и др.). Тексты Батая, Клоссовски, Бланшо не прикрываются даже видимостью академического интереса к плохо изученной фигуре эпохи Просвещения; читая

их, сознаешь, что философию Сада невозможно воспроизвести, не вовлекаясь во всю совокупность делающих ее возможной литературных и паралитературных стратегий. Одно в принципе неотделимо от другого. Во-вторых, этот опыт невоспроизводим в той форме, в какой его пережил сам Сад; ни о какой каллиграфии, ни о каком копировании здесь не может быть и речи. Между этими двумя невозможностями постоянно маячил вопрос о том, что садический опыт в его целостности — всегда разорванной целостности — значит в это время и в этом месте? Отгородиться от подобного императива условной комментаторской установкой не удавалось (да и мало кто двигался в этом направлении до тех пор, пока в ряде аспектов этот автор все-таки не был переварен культурой, что произошло совсем недавно), и "садоведение" наиболее продвинули писатели, в основном эротического направления — те же Батай, Клоссовски и Бланшо (а до них Бодлер, Аполлинер, Бретон).

Молчаливое влияние этих фигур на литературу, влияние, которое в случае Батая, Клоссовски и Бланшо также в основном не поддается прямому комментированию, по силе сравнимо со скрытым воздействием Сада на литературу последних двух веков. Оно разделяет ту же судьбу. Знание этого воздействия особенно ощущается в свете обилия принятых в последнее время попыток его прояснить, раскопывать. Неудача придать смысл тому, что зарождается в качестве противосмысла, закономерна, и нет ничего скучнее книг об этих авторах. В этих типах письма — черта, конечно, роднящая их с письмом Сада — внутренне заложено сопротивление интерпретации: такое письмо не превращаемо в объект, оно принципиально и упорно несозерцаемо.

Впрочем, там, где не срабатывает комментарий, остается еще одно действенное средство — симуляция, философствование без оснований, в каждом шаге "основывающее" само себя. Если мы поставим тексты Жоржа Батая о (поняв это "о" как исключающее любую объективность) Саде в один ряд со всей совокупностью его эротических, политэкономических, этнологических и других текстов, то обнаружится, что реальность, с которой эти тексты якобы соотносятся, откровенно иллюзорна, что и она тоже не поддается созерцанию. Другими словами, Батай понимает Сада в силу того, что уже имеет гетерологический\* опыт; в то же время само существование текстов Сада усиливает его гетерологичность.

Применительно к Саду предельно обнажается одно обычно скрытое обстоятельство: литература — это, собственно, и есть жизнь. Следовательно, текстовые напряжения зависят от множества гетерогенных им по качеству, но равных по силе напряжений. Письмо здесь сопрягается с архаикой жизненного стиля; обряд и заклинание так же неразрывны

\* Т.е. связанный с выходом за пределы мира, управляемого здравым смыслом, трансгрессивный (термин Ж. Батая).

в нем, как в шаманстве, и нам ничего другого не остается, как смириться с жестокой наивностью этой логики.

Итак, отношение к Саду не случайно определяется всей совокупностью писательских стратегий, как не случайно и то, что практически все собранные в этой книге тексты — тексты писателей. В них одновременно совершаются два принципиально неравнозначных акта: письмо о Саде и собственное письмо. Их неравнозначность определяется тем, что письмо о Саде есть акт собственного письма Батая и Камю, Клоссовски и Бовуар, Бланшо и Барта и в этом смысле фикция (в лучшем значении этого слова). Литературные стратегии самого Сада оказываются схваченными в этих сочленениях слов прежде, чем началась сознательная интерпретация Сада как литературной фигуры, а тем более стоящего за всем этим гипотетического человека. Столкновение этих глубинных стратегий происходит с самого начала, значительно раньше, чем интерпретация находит свой объект и возникает пространство созерцания. Совершенная гиперреальность письма Сада действует как индикатор, как химический реактив, проверяющий на симулятивность письмо “интерпретирующих” его авторов, и сам Сад, как проклинаемая или прославляемая ими фигура, материализуется в тех точках, где воссоздание его собственных фантазмов не состоялось и где провокация превратилась в оскорбление или хвалу (чего, собственно, и добивался от своих читателей Сад). Идеальным в этом отношении было бы письмо более гиперреальное, чем письмо самого Сада, но как раз это (в частности, из-за скандальной смерти Бога) и невозможно; поэтому вместо ожидаемого коллапса интерпретации мы имеем ряд более или менее состоявшихся симуляций.

Не менее драматично складывались дела у биографов Сада. Попытки создать объективную и даже научную биографию этого чемпиона по части литературной неприемлемости фрустрировались, во-первых, чрезмерностью некоторых событий его жизни (таких, как знаменитое “марсельское дело”, связь с сестрой жены и других принципиально множественных событий, окончательная версия которых невозможна), а во-вторых, воплощенной чрезмерностью его письма. Многим из чисто человеческих отношений Сада не удавалось придать единый смысл не потому, что у его биографов не хватало терпения вычитывать его из имеющихся документов и не потому, что какого-то решающего документа в его архиве всегда недоставало (его недостает во всех архивах, тут нет никакой специфики), но прежде всего в силу того, что сами его поступки были направлены на разрушение смысла, предполагающего самоощущение субъекта, его самоданность в актах рефлексии. Его жизнь также обладала особой перформативностью, принципиально отличной от перформативности написанных им текстов. Для упорядочения неупорядочиваемого и для того, чтобы сделать заведомо неприемлемое, по крайней мере, внешне приемлемым для своих современников, исследователи творчества Сада создали ряд

мифологем, которые, подобно хорошо организованной системе шлюзов, помогают этому кораблю доплыть до читателя и заодно примиряют Сада со здравым смыслом, делая его хотя бы по видимости “нужным” или, в крайний случай, выносимым. С мифологемой нужности связана фигура Сада-ученого, составившего — де задолго до Крафт-Эбинга и Ломброзо периодическую систему психосексопатологий (см. в связи с этим комментарий к тексту Жильбера Лели, известного биографа и знатока Сада, тексту, включенному в этот сборник как пример “добатаевского” садоведения); здравому смыслу эпохи предписывается принять этого автора как Менделеева человеческой перверсивности. Особенно удобны для этой цели “120 дней Содомы”, которые — в частности, в силу их незаконченности — имеют обманчивое сходство с некоторыми образцами таксономических научных сочинений.

Другая, не менее распространенная, мифологема превращает Сада в романтического героя, влюбчивого, пылкого и благородного, похожего на графа Монте-Кристо; с помощью несколько странных текстов этот герой изживает несправедливо нанесенные ему обществом травмы. Роль злодея в этой легенде неизменно играет теща маркиза, и развивается она в основном по модели волшебной сказки, построенной В.Проппом; сцена письма в тюрьме играет в этой фабуле роль испытания. (Одной из заслуг Ж.-Ж.Повера, закончившего недавно трехтомную биографию маркиза де Сада, является доказательство “легендарности” этой легенды, ее укорененности в воображаемом предшествующих биографов.)

Существует также представление о Саде как о бескомпромиссном верующем, предложившем своим современникам вместо христианства ранее не виданный вариант негативной теологии, теологии, полностью имманентной чувственному миру (см. в этой связи комментарий к тексту П.Клоссовски “Сад и революция”).

Наконец, всегда под рукой оказывается достаточное число психоаналитических построений, с помощью которых можно, хотя бы только на уровне исследовательской иллюзии, нормализовать кого угодно, даже самого Сада.

Писатели во всех этих отношениях оказались честнее исследователей: производители добротной литературы, ценность которой соотносится с количеством вложенного в нее труда, всегда с подозрением, если не со злобой, относились к безмерности символических притязаний прозы Сада, которая, вместо того, чтобы, как положено литературе, просто нравиться, постоянно делила своих читателей на хулителей и соучастников. Для письма Сада характерна, можно сказать, нулевая степень стиля; оно практически лишено декоративных амбиций. С одной стороны, оно по видимости уступает диктату разума, жертвуя всеми остальными чувствами в пользу зрения; с другой же стороны, это письмо, вскрывающее изнанку разума, каковой является воплощенное безумие. Садовская романистика не предполагает вступать в переговоры с читателем, которые ведет нормальная литература. Место

сделки занимает у Сада смерть, которой он постоянно пытается придать характер рядового и, что самое главное, всегда уже совершившегося события. Между тем дневная реальность, в которой, как нам иногда кажется, мы только и живем, невротически претендует на место единственной реальности. Никто так грубально не расправлялся с этими притязаниями, как Сад с его ощущением позитивности состоявшейся смерти. Опыт смерти в его совершенной позитивности — вот с чем труднее всего примириться в подобной литературе. Там, где мы ожидали застать хаос, нас постоянно ожидает “хаосмос” (термин Делёза-Гваттари), т.е. одновременно упорядоченный хаос и беспорядочный космос. Нас насилуют, принуждая соотносить понятную саму по себе идею хаоса с внеположной ей идеей порядка; тем самым нам наглядно демонстрируют, что хаос и есть некий первоначальный порядок, из насилия над которым рождается упорядоченный язык. Другими словами, нас заставляют осознать этот кажущийся естественным язык как результат уже совершившегося насилия. Создается парадоксальная ситуация, прекрасно осознанная Морисом Бланшо: Сад пользуется этим языком и одновременно разрушает его. Инцестуозность его текстов связана с тем, что оба эти движения совершаются одним ходом. Поэтому физическое наслаждение от чтения этих текстов постоянно бывает противоположно удовольствию как законному наслаждению. Сада интересует опыт физического соединения тел такой интенсивности, что с ним просто не могут быть связаны чувства и все то, что в предшествующей ему философии называлось аффектами. Он яснее других понял, что триумф физической этики предполагает и даже делает неизбежным постоянное поражение чувств, что это есть опыт такого поражения, бросающего вызов любой фрустрации. Полная победа этой этики равна ее полному поражению (отсюда утверждение Сада, что счастье конечного существа связано с энергией принижения, а вовсе не с их содержанием, истинным или ложным).

Если запретный плод сладок всегда, то в какие-то времена, при каких-то обстоятельствах он сладок вдвойне. Меня не покидает ощущение, что я живу именно в такое время и в таком месте. В чем же особая продуктивность текстов Сада применительно к этому обществу и времени? Что делает их кажущуюся экзотику столь обыденной и при всей декларируемой извращенности самоочевидной?

Прежде всего, это, видимо, связано с “апориями террора”, овладевшего тканью нашего общества в невиданных, запредельных истории масштабах. Террор экзистенциально разумен, разумен в той мере, в какой терпит поражение скованный нормами обычной логики разум; алогичность террора связана с его устремлением быть логичным до конца, идти за пределы подконтрольного здравому смыслу реальности, натываясь непосредственно на тела.

Здесь намечается первая гомология. Тексты Сада также были сформированы логикой революционного террора, из которого он (по-

жалуй единственный) осмелился вывести все последствия (к анализу которых обращается в своем тексте “Сад и революция” Пьер Клоссовски). Прежде всего он отказался от человекобоя и связанного с ним так называемого “рационального атеизма”, похожего на тот, который еще недавно официально насаждался у нас. Сад проповедовал абсолютную невозможность заменить теоцентризм антропоцентризмом, и именно здесь у него зарождается проблематика симуляции, во многом противоположная — в отличие от того, что полагает Р.Барт — процедуре театрализации. Ведь симуляция есть не что иное, как невозможность экспозиции тела, его имманентная данность самому себе и ничему вне него. Наши тела, сформированные Террором, причем не просто эмпирией, а логикой террора, также относятся к разряду тел, генеалогией которых занят маркиз де Сад. Впрочем, его тела несравнимо концентрированной и интенсивней наших; именно их принципиальность как тел террора, их исключительная последовательность и парадоксальная логичность способны прояснить многое в нас самих. (Эти тела бравируют, в частности, своим противобоем, достигшим апогея в эпоху Террора.)

Наша культура грезит о каком-то сверхтексте, который мог бы потрясти ее в своих основаниях (критики часто говорят в этой связи о новом “Войне и мире”, который прояснил бы существо, смысл этого времени; полагая, что оно еще имеет смысл). Речевая культура, как известно, последовательно литературна и тем самым отрицает возможность замкнуть литературу рамками конвенциональной изящной словесности, видя в литературе саму реальность. Неудивительно, что во время упадка ей грезится некий сверхтекст, который мог бы ее разрушить; текст литературный настолько, что знаменовал бы собой смерть литературы. Тексты Сада наиболее соответствуют этим упованиям: совершенная литературность делает их противолитературными. По своим символическим притязаниям, эти романы — убийцы всех других текстов. Через их посредство речевая культура может соприкоснуться с ужасающим ее планом содержания или, что то же самое, с сакрализованной обыденностью языка. Подобно революции, эти романы существуют во времени катастрофы.

Сад понял природу как работающую аналогию Террора, но если террористична сама природа, то (при всей логической невозможности) нам не остается ничего другого, как приучить себя видеть в Терроре абсолютную норму. Отсюда следуют, как минимум, два вывода. Надо понять всеобщее по модели отклоняющегося поведения, и чем более оно деструктивно, тем ближе оказывается к природе и к “всеобщему”. Но этим не заканчиваются апории террора. В идее преступности природы заложено бесконечное унижение, человек вынужден как марионетка совершать мелкие трансгрессии без надежды когда-либо сравняться с природой. Отчаяние вызывает мысль о невозможности террора против самого принципа террора, т.е. природы. Как сверхидея на периферии текстов Сада маячит проект уничтожения природы

(именно это планирует сделать химик Альмани в “Жюльетте”, Сен-Фон и другие), захват ее террористических прерогатив. Но так как это невозможно, ибо части отказано в победе над целым, остается апатическое повторение отклоняющегося жеста при сохранении максимальной энергии принципов. Остаются три кита, на которых держится террористический универсум: нечувствительность, неследование своим склонностям; знание себя абсолютно одиноким; примат трансгрессии над удовольствием.

В числе прочих уроков, преподанных ему эпохой революционного Тррора, Сад числил и такой: отказаться от романтического представления о том, что нас можно наделить телом; тело в философии есть изначально всеобщее, даже если оно осмысливается в терминах духа. В этом он не был оригинален: философия всегда вводила Бога вторым шагом, поэтому и в трансцендентализме мы имеем дело с проблематикой спиритуализованной телесности. Разница здесь в другом. Упраздняя Бога как “натуральный” принцип объяснения (этот пункт блестяще развил в своих лекциях о Канте Мераб Мамардашвили), трансцендентализм не уничтожал место Бога, саму точку тотализации. Тррор же, телесную сторону которого положил в основание своей философии Сад, претендует на уничтожение самого места, самой точки. Гильотинирован, повторяет Сад, был не “гражданин Капет”, а сам правовой принцип, пуповина, связывающая человека с трансцендентным. Тррор не просто не производит целей: он активно уничтожает конечные существа, не придавая им никакой ценности, и это обрекает даже его наиболее талантливых агентов на роль имитаторов. Пусть в весьма извращенной форме, но и они оказываются орудиями “всеобщего”.

И еще одна безразличная для нашего общества деталь творчества Сада. Как известно, на Нюрнбергском процессе комендант Освенцима, самой эффективной из фабрик смерти, получил отсрочку в исполнении приговора для того, чтобы он мог поведать потомкам историю чудовищной машины, которую возглавлял. Мне довелось прочитать его мемуары, — и что же я там нашел? Рассказы о том, какие моральные муки ему пришлось претерпеть на своем посту, как ему было тяжело, сохраняя видимость невозмутимости, смотреть в лицо матерям, которые, показывая детей, кричали: “Разве они не красивые? Пожалейте хоть их, господин комендант!”; как он страдал от патологического антисемитизма Эйхмана (потом во время процесса Эйхмана выяснилось, что и он всего лишь скрепя сердце выполнял приказ) и т.д. и т.п..

Сад прекрасно знал эту логику, ему не надо было объяснять, что такое “дискурс палача”. Да, палач никогда не пишет своим телом, он искренне не знает, что такое преступление на уровне тела, последнее не мыслимо для него иначе, как в связи с гипотетическим благом.

Но ведь кто-то может написать историю его тела за него, более того, история тела коменданта Освенцима уже существовала, и Нюрнбергский трибунал дал отсрочку только по литературной наивности, пред-

полагающей в преступнике нечто вроде “челночной дипломатии” между сознанием и бессознательным (что, якобы, делает его привилегированным свидетелем преступления). Председатель секции Пик в районе Вандомской площади не был столь наивен. Он, с известным на то основанием, претендовал писать не рукой палача, подчиненной “агрегату умозаключений”, а его телом, видеть его не центральным, а периферийным зрением, которое было у него столь “патологически” развито. Он грезил о языке действия для таких тел, языке, которому не противостоит ничто внешнее. И этот не-язык в языке — то, что временно притягивает и отталкивает от него.

Но почему все-таки эти тексты о Саде так красивы? Почему при всей страстности от них веет покоем?

Перечитывая недавно “Приглашение на казнь” Владимира Набокова, я нашел там образ, который что-то проясняет в нашем восприятии текстов Батая, Бовуар, Клоссовски, Барта о Саде. Это рассказ о “нетках” (абсолютно нелепых предметах, всяких там бесформенных, шишковатых штуках), и полагающихся к ним зеркалах (“мало что кривых — абсолютно искаженных, ничего нельзя понять, провалы, путаница, все скользит в глазах”). И вот, когда такой непонятный предмет подносили к кривому зеркалу, которое нормальные предметы безнадежно искажало, “получалось замечательно; нет на нет давало да, все восстанавливалось, все было хорошо, и вот из бесформенной пестряди получался в зеркале чудный стройный образ: цветы, корабль, фигура, какой-нибудь пейзаж... было весело и немного жутко... брать в руку вот такую новую непонятную нетку и приближать к зеркалу, и видеть в нем, как твоя собственная рука разлагается, но зато бессмысленная нетка складывается в прелестную картину, ясную, ясную...”.\*

Наше восприятие этих текстов тоже является продуктом интерференции нетки и зеркала, космос рождается из двух разных видов хаоса, идеально пригнанных друг к другу. Зеркала играли в мире Сада огромную роль, это самый “зеркальный” писатель своего времени. А нетками, читатель, придется стать нам.

*Париж—Москва,  
сентябрь—ноябрь 1991*

\* Влад. Набоков. Машенька... М., Худ. лит.-ра, 1988, с.309-310.

## Жильбер Лели *Садо-мазохизм Сада*<sup>1</sup>

Можно предположить, что меланхолический “Вакх” из “Мемуаров” Фанни Хилл, портрет которого приводит ниже Морис Эне, и есть маркиз де Сад, каким актрисы из Оперы видели его перед “Аркейским делом”. Трудно найти лучший пролог к соображениям, которые мы собираемся высказать, чем эти строки, в которых также с поразительной точностью дается описание лица, страдающего алголагией:

“Он был одержим жестокой склонностью, неотразимой манией, [выражавшейся не только в том], чтобы безжалостно секли его самого, но и в стремлении сечь других самому. Тратя непомерные деньги на оплату тех, у кого доставало мужества и услужливости отдать себя во власть этой страсти, он, увы! находил мало желающих, будучи весьма разборчивым в выборе партнеров, хотевших подвергнуться вместе с ним столь жестокому испытанию. Это был ярко выраженный блондин хрупкого телосложения. По причине полноты и округлости его фигуры на вид я дала бы ему двадцать лет, хотя на самом деле ему было на три года больше. Круглое, полное, свежее лицо делало бы его вылитым Вакхом, если бы не некоторая суровость, даже жесткость, совершенно не согласовавшаяся со строением его лица, которая приходила на смену жизнерадостности, необходимой для полного сходства. Он сел со мной рядом, и его лицо сразу же приняло выражение кротости и добродушия тем более замечательное, что перемена эта произошла почти мгновенно. Позднее, когда я лучше узнала его характер, я поняла, что своим существованием такое изменение обязано обычному для него состоянию конфликта с са-

мом собой, неловкости, которую он испытывал из-за того, что был рабом столь странной склонности, связанной с его конституцией, склонности, которая делала его неспособным к удовольствию, если он предварительно не прибег к необычным и болезненным средствам доставить его себе”.

Прежде чем перейти к рассказу о бичевании Розы Келлер и к марсельской оргии, нам представляется полезным для просвещения недостаточно осведомленного читателя набросать картину основных влечений, которым следовал наш герой во время этих событий. Предлагаемые здесь беглые наблюдения должны послужить основанием для более подробных изысканий, относящихся к жизни де Сада и к анализу его главных произведений, прежде всего “120 дней Содома”, “Новой Жюстины” и “Жюльетты”, т.е. сочинений, где создатель нового поэтического мира оспаривает авторство у гениального клинициста, предвосхитившего будущие открытия.

Прежде чем рассуждать о садизме, нужно уяснить себе, что в силу амбивалентности инстинктов, подтверждаемой психоанализом, этот психоневроз всегда встречается в сопровождении своей неотъемлемой противоположности, мазохизма. Подобное сосуществование может показаться удивительным лишь на первый взгляд. В садизме, равно как и в мазохизме, речь, говоря несколько упрощенно, идет о реальной или символической связи жестокости с любовным наслаждением. Проявляем ли мы сами жестокость в отношении любимой женщины или эта женщина ведет себя жестоко по отношению к нам — желаемый результат в обоих случаях одинаков. Единственное различие носит, так сказать, чисто технический характер, так как во втором случае сам субъект становится объектом [жестокости]. В некоторых случаях подобный переход от активного к пассивному или наоборот совершается без какого-либо эмоционального

переключения, и соединение этих двух противоположностей оказывается столь тесным, что дает Фрейду основание утверждать, что подобная инверсия никогда не вызывает “полного потрясения инстинктов”, так что изначальный импульс в той или иной мере сосуществует с производным, “даже в тех случаях, когда процесс трансформации был очень интенсивным”. Непостижимый для человека непосвященного, этот феномен не представляет никакой тайны для того, кто постиг поразительную пластичность человеческой души, находящейся под воздействием страсти.

За сто лет до того, как Шренк-Нотцингом был введен термин алголагния (от двух греческих слов: *ἄλγος* — боль, *λαγνεία* — соитие), соединивший в одном слове понятие причиняемой другому и причиненной себе самому боли, необходимой для получения полового удовлетворения, в романах де Сада не было ни одного героя — как мужского, так и женского пола (за исключением Жюстины, о чем речь пойдет дальше), — который не демонстрировал бы своим поведением неизменное соединение садизма и мазохизма. Все эти Нуарсеи, Сен-Фоны, Жюльетты и Клервиль ищут в пассивном бичевании как таковом повод для сладострастия, редко сопровождающегося физиологическим удовлетворением. При всей их жестокости эти персонажи в изобилии снабжают нас примерами самых разных форм мазохистического поведения. Раскрыв наугад том “Жюльетты”, мы сразу же наталкиваемся на два следующих эпизода: Сен-Фон просит Жюльетту душить его, в то время, как он совершает акт содомии с Пальмирой; несколько дальше та же Жюльетта обращается к Делькуру, нантскому палачу, со следующими словами: “Прошу вас, бейте меня, оскорбляйте меня, секите меня”. А когда тот производит над ней все эти жестокости, Жюльетта восклицает: “О, Делькур, божественный разрушитель человечества, обожаемый Делькур, которого я принесу в жертву наслаждению, сильнее охаживай твою потаскуху, остав-

ляй на ней следы твоих ногтей, она жаждет этих отметин. От одной мысли, что я истекаю кровью от твоих ударов, у меня голова идет кругом; о, мой милый, только не щади меня...”. Только в случае Жюстины мы не вправе констатировать, что одно ответвление алголагнии дано в сочетании со своей противоположностью. Ее отличительной чертой, на первый взгляд, является мазохизм, моральный, или, как называет его Фрейд, “прирожденный” мазохизм, проявляющийся в невротическом влечении ко всему, что может оказаться для нее фатальным. Но, по размышлении зрелом, у нас нет оснований говорить даже о теоретическом мазохизме этой героини по той простой причине, что Жюстина (случай исключительный для протагонистов романов де Сада) практически лишена какой-либо психологической убедительности если не в каждом из своих поступков в отдельности, то в их совокупности. Жюстина представляет собой абстрактную конструкцию; видимо, она была вызвана к жизни ее автором с одной единственной целью: доказать свое пессимистическое воззрение на последствия добродетели. Надо сказать, что Жюльетта, главная героиня романа, переворачивающего основной тезис “Жюстины, или несчастий добродетели” и названного “Преуспеянием порока”, отнюдь не подверглась психологическому удушению, которое превратило ее младшую сестру в настоящую марионетку, почему-то помещенную маркизом в общество живых существ.

Из всех психоневрозов садо-мазохизм, или алголагния, является, вне сомнения, самым распространенным. Исключительно редко встречаются люди, у которых этот комплекс начисто отсутствует (не исключено, что таких людей вообще нет). К этому следует добавить, что чаще всего, по крайней мере в мирное время, садо-мазохизм проявляется в столь слабой мере или под покровом символики, на первый взгляд столь далекой от его предмета, что он остается, если так можно выразиться, невидимым невооруженным глазом. Множественность ас-

пектов этого явления полностью учтена в прекрасном определении, данном врачом Евгением Дюреном<sup>2</sup>, определении исчерпывающем, при всей своей лаконичности: "Садизм [садо-мазохизм] представляет собой намеренно искомое или возникающее случайно отношение между сексуальным возбуждением и реальным или символическим (воображаемым, иллюзорным) удовольствием от направленных на разрушение поступков и действий, угрожающих жизни, здоровью и собственности человека и других живых существ или подвергающих опасности целостность неодушевленных предметов. Во всех этих случаях извлекающий из них сексуальное удовольствие человек может действовать как лично, так и через посредство других, быть всего лишь зрителем или (вольно или невольно) подвергаться нападению со стороны нанятых им людей"

Исходя из учения Фрейда, основные понятия которого вынуждена была принять классическая психиатрия, можно допустить, что есть три способа разрешения психоневрозов. Самый тяжелый из них может найти выход в совершении преступления или привести [страдающего психоневрозом человека] на грань психоза. Результатом обычного разрешения психоневроза (вытеснения) являются страхи и навязчивые идеи. Третим выходом,

\* Двадцать два стиха из трагедии Расина "Британик" (II акт, II сцена), в которых император повествует Нарциссу о рождении его любви к Юнии, содержат — хотя это и прошло незамеченным [специалистами] — впечатляющее описание садо-мазохистских склонностей. Оно состоит из четырех основных элементов объективного и субъективного свойства: зрелища нравственных страданий объекта желания (стихи 3 и 18); декораций, вызывающих в душе образы принуждения, грубой силы, готовой себя проявить (стихи 8 и 9); склонности к насилию (вторая часть 20 стиха); наконец, мазохизма (19 стих и первая половина 20 стиха). Вот эта тирада Расина, которую мы вместе с тем вправе отнести к чистейшим созданиям французской поэзии:

Нерон

*Чтоб на нее взглянуть, я среди ночи встал.  
В мерцаньи факелов, в холодном блеске стали  
Слезинки на глазах у Юнии сверкали.  
Был прерван сон ее в глухой полночный час,  
И как она была красива без прикрас!*

при котором вытеснение теоретически не имеет места, является сублимация асоциальных инстинктов, что в некоторых случаях проявляется в создании литературных и художественных произведений. Но в случае садо-мазохизма, видимо, имеется если не еще один способ разрешения этого психоневроза, то по крайней мере дополнительный выход, ведущий к ослаблению болезненных проявлений, хотя и не снимающий их полностью: мы имеем в виду нормальный половой акт. Не вызывает сомнения, что поведение мужчины и женщины во время полового соития имеет сходство с поведением соответственно садиста и мазохистки. Хотя оба эти импульса проявляются здесь в очень слабой форме, относясь скорее к сфере физиологии, само их наличие при этом, тем не менее, неоспоримо. Кроме того, эти виды поведения ответственны особенностям характера обоих полов; это позволяет нам утверждать, что лишь благодаря присутствию в нем малых доз садизма и мазохизма половой акт представляется отмеченным печатью совершенства.

Первая мысль, которая приходит в голову, когда речь заходит о Саде, — отнести разрешение его психоневроза к третьей разновидности, т.е. к сублимации, выразившейся в сочинении литературных произведений. Но такой выбор, как и выбор двух первых способов разреше-

(продолжение)

*Шум в тишине ночной, во мраке пятна света,  
Меж грубых воинов она, полуодета,  
Прелестное лицо в кругу свирепых лиц,  
И трепетание увлажненных ресниц —  
Все, все слилось в одно, и я, как бы прикован,  
Стоял едва дыша, пронзен и очарован.  
Хотел заговорить — мне голос изменил.  
И увели ее, и молча проводил  
Я взглядом Юнию. Потом в своем покое  
Тот образ неземной я видел пред собою,  
И сколько произнес восторженных речей!  
Скажу ли? По душе мне даже слез ручей,  
Что льет из-за меня. Хотел просить прощенья,  
Но робко умолкал, и за свои мученья  
Ей наказание грозил и, полонен  
Порывом новых чувств, забыл, что значит сон.  
(перевод Э.Л.Линецкой)*

ния, предполагает работу механизма вытеснения, а это противоречит всему, что нам известно о маркизе. *Сад полностью осознавал свою алголагнию*, которая находила проявление в поступках хотя и существенных, но всегда весьма — и это следует подчеркнуть со всей силой — далеких от того, чтобы представлять серьезную угрозу для здоровья, а тем более для самой жизни его “жертв”. Поэтому садо-мазохизм маркиза необходимо выделить в особый, пусть даже непосредственно связанный с сублимацией, случай: во-первых, в этом случае *сублимация не являлась бессознательной*; а во-вторых, она совершалась *в области науки*, а собственно литературный вклад, хотя он и является одним из самых сенсационных в Новое время, был внесен де Садом лишь в качестве способа записи [научного открытия], независимо от психоневроза. Маркиз де Сад, на наш взгляд, является прежде всего человеком, одаренным гениальной научной фантазией. А что, собственно, такое фантазия в ее высшем проявлении? Вовсе не создание вымысла, способствующего отдохновению. Фантазия — это то, что позволяет с помощью фрагмента реальности воссоздать ее целиком. Подобно натуралисту Кювье, который по скелету ископаемого умел полностью восстановить строение этого животного, маркиз де Сад, исходя из рудиментарных проявлений собственной алголагнии (к этому следует добавить и сцены, при которых ему довелось присутствовать в качестве наблюдателя), без помощи какого-либо предшественника, причем с самого начала достигнув совершенства, построил гигантский музей садо-мазохистских перверсий; и хотя это сооружение оказалось украшенным всеми прелестями поэзии и ораторского искусства, оно, тем не менее, стало нашему взору в качестве самой что ни на есть скрупулезной и эффективной научной дисциплины.

## Пьер Клоссовски *Сад и Революция*<sup>1</sup>

### I

Революция, похоже, могла разразиться лишь благодаря сочетанию множества противоречивых требований: если бы имеющиеся психические силы отождествлялись одна с другой изначально, никогда не произошло бы их единой мобилизации. Именно из-за своеобразного смешения двух различных категорий требований и могла создаться взрывоопасная атмосфера. В самом деле, соперничали две группы: с одной стороны, существовала аморфная масса средних людей, требовавших установления социального режима, при котором воплотилась бы идея “естественного человека” — “естественный человек” является здесь лишь идеализацией обыкновенного человека (идеалом, обладающим притягательной силой прежде всего для той части народа, которая до тех пор жила ниже уровня обыкновенного человека), — а с другой стороны, имелась категория людей, которые, принадлежа к правящим классам с более высоким уровнем жизни, смогли — при помощи той же самой несправедливости, связанной с этим уровнем жизни, — достичь наивысшей степени ясности ума. Эти люди, зажиточные буржуа или просвещенные аристократы, обладавшие мечтательным или систематическим складом ума, фантазировавшие или осуществлявшие свои замыслы на практике либертены, сумели объективировать содержание своей нечистой совести: они осознавали, что в их существовании является произвольным с нравственной точки зрения, равно как и проблематичность жизненной позиции, которую они в себе выработали.

Таким образом, если одни желали духовно возродиться в ходе социального переворота и найти в нем для себя выход (таков случай Шамфора), то другие, напротив, прежде всего надеялись на то, что им удастся заставить людей принять в качестве универсальной потребности свою собственную потребность в проблематизации, и ждали, что Революция приведет к тотальной переделке структуры человека (таков, по крайней мере, случай Сада, которому не давал покоя образ интегрального человека с полиморфной чувствительностью).

Есть в Революции коллективный инкубационный период, когда первые трансгрессии, которым предались массы, позволяют думать, что отныне народ способен на любые авантюры. Этот период психического регресса, носящий сугубо временный характер, в результате поверг умы либертенов в состояние своеобразной эйфории: самые дерзкие построения индивидуальной мысли получили некоторый шанс на практическое воплощение. То, что созрело в таких умах в соответствии с достигнутым каждым в отдельности уровнем разложения, теперь можно было, как им представлялось, посеять в благодатную почву. Эти люди были не в состоянии отдать себе отчет в том, что сами они, напротив, уже являются загнивающим плодом, который в каком-то смысле отделился от общественного древа; скоро они падут, ибо они — конец, а не начало, конец длительной эволюции; они позабыли о том, что почва принимает лишь семя, то есть часть универсального опыта, содержащуюся в их примере для последующих поколений. Их мечта о том, чтобы дать рождение человечеству, тождественному им самим, вступила в противоречие с глубиной их зрелости или пронизательности; и лишь в ходе кризисов, подобных тем, что выпали на их долю, другие индивиды, являющиеся, как и они, отбросами коллективного процесса, смогут достичь подобной же степени ясности ума и обеспечить подлинную преемственность поколений.

По мере того как массы принимали жестокие и не-

предсказуемые решения, по мере того как обретали плоть и становились законом контуры новых группировок, в то время как нравственные и религиозные опоры старой иерархии лишались своего содержания, эти продвинутые люди вдруг оказались выбитыми из колеи, дезориентированными: дело в том, что они были тесно связаны со священными ценностями, которые подвергали осмеянию; дело в том, что их либертинаж обладал значением лишь при том уровне жизни, который был у них в ниспровергнутом обществе; теперь же, когда трон рухнул и была поругана отрубленная голова короля, когда церкви были разграблены и богохульство превратилось в привычное дело для масс, эти имморалисты стали выглядеть чужаками. Они предстали такими, какими и были на самом деле, — симптомами распада, существами, которым парадоксальным образом удалось пережить распад и которые не способны включиться в процесс переустройства, совершаемый в сознании людей, став составными частями суверенного Народа, всеобщей волей и т.д. Достаточно было бы, чтобы эти люди выступили перед народом и представили ему в виде системы врожденную потребность в богохульстве, резне, насилии, для того, чтобы масса, только что совершившая все эти преступления, тотчас обратила свой гнев на этих философов и с не меньшим удовольствием разорвала и их на куски.

На первый взгляд кажется, что здесь неразрешимая проблема: привилегированный человек, достигший благодаря социальному перевороту наивысшей степени осознания, абсолютно не способен заставить общественные силы извлечь выгоду из присущей ему ясности ума. Иначе говоря: этот человек не может ни на мгновение отождествить с собой представителей аморфной и вместе с тем обладающей богатыми возможностями массы; кажется, что свое передовое в моральном смысле положение он занимает в ущерб революционной массе. Таким образом, масса права с

точки зрения самосохранения; ибо всякий раз, когда человеческий разум становится столь безжалостным, как это, скажем, имеет место у Сада, он рискует ускорить гибель человечества как такового; но и масса заблуждается, поскольку она состоит из индивидов, а индивид несет в себе все признаки рода, и в таком случае непонятно, почему род должен избежать опасностей, которые таятся для него в успехе отдельного индивида.

Чем более выделяется этот индивид, чем в большей степени он концентрирует в себе рассеянные силы своей эпохи, тем более он для этой эпохи опасен; но чем больше он концентрирует эти рассеянные силы, чтобы они оказали влияние на его собственную судьбу, тем больше он освобождает от них эпоху. Потенциальную криминальность своих современников Сад превратил в личную судьбу, он хотел искупить ее один соразмерно с коллективной виной, взятой его совестью на себя.

Сен-Жюст, Бонапарт, напротив, сумели выплеснуть на ближних все, что эпоха накопила в них самих. С точки зрения масс, это были вполне здоровые люди; да они и сами знали, что для масс показателем здоровья человека является его готовность принести эти самые массы в жертву. Сад же, опять-таки с точки зрения масс, человек, несомненно, опасный: весьма далекий от того, чтобы находить какое-то моральное удовлетворение в революционном разгуле страстей, он был склонен воспринимать резню, узаконенную Террором, как карикатуру на свою систему: в Пикпюсе, при Робеспьере, он следующим образом описал свое пребывание в тюрьме: “Земной рай; прекрасный дом, великолепный сад, избранное общество, восхитительные женщины — и вдруг под нашими окнами оборудуется место для казней, и прямо посреди нашего сада возникает кладбище для гильотинированных. Мы похоронили, мой дорогой друг, за пять дней тысячу во-

семьсот человек, из них треть — это обитатели нашего несчастного дома” (29 брюмера, год III).

И позднее: “Из-за всего этого мне не по себе; тюремное заключение и вид гильотины причинили мне в сотню раз больше страданий, чем все воображаемые Бастилии” (2 плювиоза, год III). Отсюда также проистекает потребность в чрезмерном нагнетании страстей, [обнаруживающаяся] в его повествованиях; и [совершается это] не только потому, что он, наконец, получил право сказать обо всем, но в каком-то смысле и для того, чтобы очистить свою совесть, изблотив истины, провозглашенные Революцией. Сад написал тогда самый бескомпромиссный вариант “Жюстины” — [ибо] необходимо было где-то выявить скрытый импульс революционной массы, ведь он отнюдь не обнаруживался в ее политических выступлениях (посколько, даже когда убивали, топили, вешали, грабили, поджигали, насиловали, то делали это во имя суверенного Народа).

Настойчивость, с какою Сад всю свою жизнь исследовал исключительно извращенные формы человеческой природы, доказывает, что для него важно было одно: заставить человека возратить все зло, которое он только способен отдать. Республиканское государство существует, якобы, во имя общественного блага; но если очевидно, что оно не может установить царство добра, то никто даже не подозревает, что в своих глубинах оно культивирует ростки зла; под видом того, что он не дает росткам зла распусться, новый социальный режим полагает, будто одержал победу над злом. Именно в этом и заключается постоянная угроза — в зле, которое может вспыхнуть в любой момент, хотя так никогда и не вспыхивает. То, что зло так и не разгорается, хотя может вспыхнуть в любое мгновение, мучило и тревожило Сада; поэтому [ему] необходимо, чтобы зло разразилось раз и навсегда, необходимо размножение плевел, тогда разум сможет вырвать их из почвы и истребить. Короче

говоря, необходимо раз и навсегда установить в мире царство зла; тогда оно уничтожит самое себя, а разум Сада обретет, наконец, покой. Но нельзя и помыслить о таком покое, нельзя хотя бы на мгновение представить его себе, поскольку каждая минута чревата злом, тогда как Свобода отказывается признать, что она существует лишь благодаря злу, утверждая, будто живет во имя добра.

Сад не мог воспринимать якобинскую Революцию иначе как ненавистного соперника, искажающего его идеи и компрометирующего его дело: в то время как Сад хотел установления царства интегрального человека, революция желала произвести на свет человека естественного. Во благо этому естественному человеку Революция использовала все те силы, которые, по сути, принадлежали человеку интегральному и должны были способствовать его расцвету. Для интегрального человека нет худшего врага, чем Бог; таким образом, убивая короля, наместника Бога на земле, в сознании людей уничтожали и Бога; это ни с чем не соизмеримое убийство имело столь же несоизмеримое последствие — приход интегрального человека. Итак, интегральный человек отмечен клеймом преступления, [притом] самого ужасного из всех преступлений — цареубийства. “Тут на ум приходит весьма необычная мысль, — пишет Сад, — но поскольку она, несмотря на ее дерзость, справедлива, я ее выскажу. Нация, которая начинает управляться как республика, будет способна поддерживать себя лишь с помощью добродетелей, ибо для того, чтобы достичь большего, надо всегда начинать с меньшего; но нация уже старая и разложившаяся, которая отважно сбросит с себя иго монархического правления, чтобы воспринять правление республиканское, будет поддерживаться лишь посредством бесчисленных преступлений; ибо она уже находится в преступлении, и если бы ей захотелось перейти от преступления к добродетели, то есть от со-

стояния жестокости к состоянию покоя, она впала бы в косность, первейшим результатом которой была бы ее неминуемая гибель”.

По Саду, Революция, переживаемая “старой и разложившейся нацией”, никоим образом не может дать ей надежду на возрождение; не может быть и речи о том, что начнется счастливая эпоха обретенной естественной невинности, поскольку эта нация освободилась от аристократии. Режим, основанный на свободе, по Саду, должен стать и в действительности станет ни больше, ни меньше, как разложением монархии, доведенным до предела. “Нация уже старая и разложившаяся”, то есть достигшая определенного уровня преступности, “отважно сбросит иго монархического правления”; иными словами, уровень преступности, до которого ее довели бывшие властители, сделает эту нацию способной пойти на цареубийство с целью установления республиканского правления, то есть социального порядка, который в силу свершившегося цареубийства вызовет к жизни еще более высокий уровень преступности. Таким образом, революционное сообщество, по сути, будет тайно, но тесно связано с моральным распадом монархического общества, ибо благодаря этому распаду его члены обрели силу и энергию, необходимые для принятия кровавых решений. Так не означает ли здесь распад высокой степени деchristианизации общества, современником которой был Сад, практику произвола тем более разнузданного, что ее корни следует искать если не в атеизме, то, по меньшей мере, в глубочайшем скептицизме?

По мере того как этот моральный скептицизм и атеизм, проповедуемый с провокационными целями или по убеждению, распространяются в монархическом обществе, последнее приходит в состояние такого разложения, что феодальные отношения господина и слуги оказываются уже потенциально разорванными; в самом де-

ле, [на их месте] восстанавливаются античные отношения повелителя и раба.

## II. Разложение теократической феодальной [иерархии] и зарождение аристократического индивидуализма

В период между античным рабством и Революцией на Западе установилась теократическая иерархия, представляющая собой попытку Церкви привести имеющиеся социальные силы в систему, которая была бы в состоянии обеспечить каждой категории людей ее нравственное значение. Теократическая иерархия была призвана положить конец античному закону джунглей; человек, созданный по образу и подобию Божьему, не может эксплуатировать другого человека; каждый человек есть слуга Господа. На фронтоне этой теократической иерархии записано: страх перед Богом — начало мудрости. Король, назначаемый Богом, является его земным слугой; господин, назначаемый королем, является слугой короля; и всякий человек, который признает себя слугой своего господина, является слугой Бога. Иерархия наделяет господина военными, юридическими и социальными функциями, которыми он облечен королем и которые суть для него обязательства по отношению к королю и народу; выполнение этих функций обеспечивает ему право на признание и верность [со стороны] его вассала и слуги; со своей стороны, встав под защиту своего господина, которому он воздает должное и по отношению к которому сохраняет верность, слуга испытывает религиозное чувство к своему Богу и своему королю; таким образом, находясь на низшей ступени иерархии, он выполняет свое индивидуальное предназначение, так как он — часть здания, основой которого является Бог. Итак, по мере того как король сосредоточивает в своих руках все большую власть, а господин лишается одна за другой своих функций, последний освобождается от

обязательств по отношению к королю, но претендуя вместе с тем на то, чтобы сохранять привилегии и права, проистекавшие из этих обязательств. И тогда господину достаточно уйти в свою личную жизнь, придав своим привилегиям форму наслаждения, за которое ему не надо отчитываться ни перед Богом, ни перед кем-либо еще — и меньше всего перед слугой, — достаточно поставить под сомнение существование Бога, чтобы все здание заколебалось. В глазах слуги служение на низшей ступени социальной лестницы теряет всякий смысл. Наконец, когда господин лишь по видимости стремится к поддержанию здания теократической иерархии с одной-единственной целью — вести бессмысленное существование, являющееся отрицанием самой этой иерархии, существование, которое должно продемонстрировать, что страх перед Богом — это начало безумия, — тогда вновь вступает в силу закон джунглей: восстанавливаются античные отношения сильного и слабого, повелителя и раба.

И в частности, знатный вельможа-либертен в канун Революции уже является всего лишь господином, знающим, что он обладает правом на власть, но также понимающим, что в любую минуту он может его утратить и что потенциально он уже представляет собой раба. Поскольку он больше не обладает в своих собственных глазах непрекаемой властью, сохраняя, однако, ее инстинкты, и поскольку его воля лишена чего-либо священного, он перенимает язык толпы, называет себя развратником, он ищет аргументы у философов, читает Гоббса, Гольбаха и Ламетри, как человек, который, потеряв веру в божественное право, стремится узаконить свое привилегированное положение с помощью доступных для всех софизмов. Оказавшись в таком положении, знатный вельможа-либертен, если только он не законченный атеист, воспринимает свое собственное существование как провокацию по отношению к Богу и в то же время по отношению к народу; если же, напротив, он —

законченный атеист, то, распоряжась по своему усмотрению жизнью слуги, делая из него раба, превращая его в объект своих удовольствий, он дает народу понять, что убил в своей душе Бога и что его прерогативы заключались лишь в том, чтобы безнаказанно творить преступления. Таким образом, человек, который соединялся с Богом на низшей ступени иерархии через акт служения и который теперь, когда Бог, располагавшийся на вершине иерархии, умер, оказался в положении раба, оставаясь слугой без господина в той мере, в какой, переживая смерть Бога в собственной душе, он продолжает терпеть того, кто на самом деле является повелителем; и он может стать повелителем лишь постольку, поскольку ему, принявшему участие в убийстве Бога, совершенном на вершине иерархии, хотелось бы уничтожить повелителя, чтобы самому стать им.

В самом деле, став рабом в силу атеизма или богохульного поведения своего повелителя, слуга восстал. Таким образом, он принял смерть Бога; но когда он приступит к суду над своим хозяином, во имя чего он будет этот суд вершить, если не во имя прерогативы преступления? Он тотчас превратится в соучастника бунта своего хозяина против Бога и, в свою очередь, возложит на себя ответственность за преступление. Суд не может иметь иного исхода, кроме обретения рабами прерогатив хозяев; и он начинается с убийства этих хозяев. Таков, как представляется, порочный круг, создаваемый коварным тезисом, согласно которому нация, сбросившая монархическое иго, может поддерживать себя лишь посредством преступлений, потому что она уже [пребывает] в преступлении, — порочный круг, которым Сад хочет замкнуть Революцию.

В итоге Республика никогда не может начаться; Революция является действительно Революцией лишь тогда, когда она — Монархия, пребывающая в состоянии перманентного восстания. Священная ценность может быть поправлена только в том случае, если она лежит под нога-

ми. Теократический принцип отнюдь не подвергается сомнению: напротив, он определяет всю терминологию Сада — иначе, что означало бы слово “преступление”?

### III. Цареубийство — подобие казни Бога

Казнь Короля, совершенная Нацией, — это лишь высшая фаза процесса; первой его фазой было умерщвление Бога, осуществленное в результате восстания знатного вельможи-либертена. Так, казнь Короля становится подобием предания смерти Бога. Когда после осуждения Короля, личность которого до упразднения монархии оставалась неприкосновенной, членов Конвента призвали высказаться за или против смертного приговора, тезис, который собрал большинство голосов в пользу высшей меры наказания, был (не мог не быть) лишь компромиссом между юридической и политической точками зрения. Только несколько человек, беря на себя ответственность за вызов, брошенный монархической Европе, осмелились, подобно Дантону, сказать: мы не хотим выносить приговор Королю, мы хотим его убить. Даже Сен-Жюст, стремящийся прежде всего внушить нации чувство уверенности в своих правах, заявил, что речь идет не столько о том, чтобы судить короля, сколько о том, чтобы победить его как врага, потому что нельзя властвовать безвинно. Однако человеком, который поставил дилемму наиболее радикальным образом, был Робеспьер, осознавший необходимость создания нового понятия общественного права: “Речь здесь идет отнюдь не о судебном процессе. Людовик вовсе не обвиняемый. Вы — не судьи. Вы являетесь и не можете не являться лишь государственными мужами, представителями Нации. Вы не должны выносить приговор за или против человека, но вам надлежит принять меры к общественному спасению, совершить акт национального провидения. В самом деле, если Людовик может стать объектом судебного разбирательства, то он

может быть оправдан, а значит, и признан невиновным, да что там — он и считается невиновным, пока не вынесен приговор; но если Людовика оправдают, если Людовик может быть сочтен невиновным, чем тогда становится революция? Если Людовик невиновен, все защитники свободы превращаются в клеветников, а мятежники — в друзей и защитников угнетенной невинности...". И Робеспьер заключает: "Людовик должен умереть, чтобы могло жить Отечество". Продав свой народ зарубежным деспотам, король уничтожил общественный договор, связывавший с ним нацию; с тех пор народ и тиран, которого надо уничтожить, как уничтожают врага, находятся в состоянии войны. Такова точка зрения Революции, позволяющая укрепить республиканский порядок. Но она не имеет ничего общего с мыслью Сада. В тот момент, когда лезвие отсекло голову Людовика XVI, в глазах Сада умер не гражданин Капет, даже не предатель — в глазах Сада, как и в глазах Жозефа де Местра и других ультрамонтанцев<sup>2</sup>, умер представитель Бога; и кровь наместника Бога на земле, а в более глубоком смысле кровь Бога, окропила головы восставших людей. Контрреволюционные католические философы, такие, как Жозеф де Местр, Бональд, Мэн де Бيران, говорили о казни Людовика XVI как об искупительном мученичестве; в их представлении Людовик искупил грехи нации. По Саду, казнь короля погрузила нацию в состояние неискупимого [греха]: ведь цареубийцы — это отцеубийцы. И — несомненно потому, что он видел всю принудительную силу этого акта — Сад хотел заменить братство естественного человека круговой порукой отцеубийства, способной скрепить сообщество, которое не могло стать братским, уже будучи каиновым.

#### IV. От общества без Бога к обществу без палача

Революция хочет установить братство и равенство детей Родины-матери. Странное это выражение — Родина-мать. Оно предполагает существование божест-

ва-гермафродита, чья двусмысленная природа как бы соответствует сложности совершенной над королем казни; этот термин подчеркивает амбивалентность революционного акта, амбивалентность, которую члены Конвента не могут, очевидно, осознать, но смутно о ней догадываются, замещая Родиной-матерью священную инстанцию отца, то есть короля. Но восставшие рабы, которые своим бунтом против повелителей стали соучастниками их мятежа против Бога, превратившись, в свою очередь, в господ, могли ли они даже претендовать на создание незапятнанного сообщества? Дабы освободиться от вины, им надо было искупить неискупимое — казнь короля, — и им ничего не оставалось, как дойти до крайности в осуществлении зла. Робеспьер в одной своей речи говорил о суде над королем так: "Когда нация была принуждена к тому, чтобы воспользоваться правом на восстание, она вернулась к своему природному состоянию по отношению к тирану. Мог ли последний ссылаться на общественный договор? Он сам его уничтожил: нация еще могла его сохранить, если бы сочла договор уместным в том, что касается отношений граждан между собой; но следствие тирании и восстания состоит в окончательном разрыве связей с тираном, в том, чтобы привести тирана и восставших в состояние войны. Трибуналы и юридические процедуры созданы лишь для членов гражданского общества".

Здесь — узловой пункт разногласий между Садам и Революцией, между Садам и Терроризмом, между Садам и Робеспьером. Может ли общественный договор существовать лишь в одностороннем порядке, связывая граждан между собой, раз тиран уничтожен? Могут ли распространяться суды и процедуры права на членов [нового] гражданского общества? "Каким образом?" — спрашивает Сад. Вы восстали против несправедливости; несправедливость для вас заключалась в том, что вы были исключены из практики несправедливости; взбунтовавшись против несправедливости, вы ответили той

же несправедливостью, потому что вы убили своих хозяев, подобно тому, как ваши хозяева убили в своей душе Бога. Справедливость для вас, если только вы не вернетесь опять в состояние рабства, справедливость для вас — и вы доказали это, пролив человеческую кровь, — может заключаться лишь в коллективном применении практики индивидуальной несправедливости. Каким образом призовете вы если не к Богу, то по крайней мере к надлежащему порядку, который позволит вам спокойно воспользоваться плодами восстания? Все, что вы отныне предпримете, будет носить на себе печать убийства.

Именно это Сад пытается доказать в своем небольшом труде, озаглавленном “Французы, еще одно усилие, если вы хотите быть республиканцами”; он является не столько его творением, сколько творением Дольмансе, одного из персонажей “Философии в будуаре”, куда включен этот опус. Тем не менее, поскольку у нас есть все основания полагать, что именно в этом художественном произведении он выразил свою мысль во всей ее полноте, нам, возможно, следует уделить этому странному документу больше внимания, нежели многочисленным заверениям, исполненным республиканской доблести, которыми он удостоил революционные власти за девять лет, проведенных им на свободе.

Уже само высокопарное название опуса (“Французы, еще одно усилие...”) кажется весьма подозрительным и в достаточной мере выдает истинные намерения автора. Труд состоит из двух глав; первая посвящена религии, вторая — нравам. В первой, где он пытается доказать, что теизм никак не подходит для республиканского образа правления, Сад, дабы подорвать устои теократического общества, прибегает к позитивным рациональным аргументам. Вопрос ставится в следующих выражениях: христианство должно быть отброшено, потому что его социальные последствия противоречат морали; только атеизм может дать этическую основу для национального

просвещения: “Замените религиозные благоглупости, которыми вы утомляете юные органы ваших детей, превосходными социальными принципами; вместо того, чтобы обучать их бесполезным молитвам... учите их исполнять свои обязанности по отношению к обществу; научите их лелеять добродетели, о которых вы в прошлом едва вспоминали и которых им достаточно для счастья и без ваших религиозных басен; дайте им почувствовать, что счастье состоит в том, чтобы сделать других настолько же удачливыми, насколько хотели бы добиться успеха мы сами. Если в основание этих истин вы положите христианские химеры, как вы имели безумие делать это в прошлом, ваши ученики, едва осознав бесполезность этих оснований, развалят все здание и станут негодяями только потому, что будут полагать, что религия, ими низвергнутая, запрещает им быть таковыми. Напротив, внушив им, что истина необходима лишь потому, что от нее зависит их личное благополучие, вы добьетесь того, что они станут честными людьми из эгоизма, и этот закон, управляющий поступками всех людей, станет самым надежным из законов”.

Таковы позитивные материалистические принципы, которые на первый взгляд, с точки зрения рационального подхода, кажутся неопровержимыми и способными предложить основы для создания нового общества. Эти принципы могут породить дерзкие, так сказать, новшества, такие, как уничтожение семьи, разрешение свободных браков — иначе говоря, общность женщин для мужчин, общность мужчин для женщин, — наконец, и прежде всего, общность детей, для которых единственным отцом станет государство. Все эти проблемы поставлены Садом (в них можно усмотреть некоторые фалангстерские идеи Фурье, входящие в проект гармонического общества, основанного на свободной игре страстей). Каким же образом Сад их разрешает? Во второй главе, посвященной нравам, он сразу же припирает к стенке “республиканцев”: “Предоставляя свободу со-

вести и свободу прессы, подумайте, граждане, и о том, что очень скоро будет необходимо предоставить людям полную свободу действий, и что, за исключением того, что подрывает основы правления, практически не останется наказуемых преступлений; ибо на самом деле существует весьма немного преступных деяний в обществе, которое зиждется на свободе и равенстве...". И правда, может ли личное счастье человека состоять в том, чтобы, как того требует атеистическая мораль, делать других такими же счастливыми, какими мы хотели бы быть сами?". Речь не идет о том, чтобы любить ближнего, как самого себя, — отвечает вскоре на этот вопрос автор во второй главе, извлекая первые выводы из атеистической морали, — это противно законам природы, а ведь одна только она должна управлять нашими законами...". Можно установить общность женщин для мужчин и мужчин для женщин, но лишь с тем, чтобы сделать общественные дворцы публичными домами в национальном масштабе. Общность детей? Разумеется, для того, чтобы обречь их на содомию. Уничтожение семьи? Конечно, но пусть исключение подтверждает правило: [необходим] инцест. Общность богатств? [Да], но осуществленная посредством кражи — "ибо клятва уважать собственность не затрагивает того, кто не владеет ни чем: наказывайте человека, допустившего небрежность и позволившего себя обворовать, а не того, кто совершил кражу и лишь последовал первому и самому святому порыву природы — поддался стремлению сохранить свое собственное существование в ущерб всему". Но если клевета, грабеж, насилие, инцест, адюльтер, содомия не должны караться при республиканском правлении, то преступлением, против которого это правление менее всего склонно проявлять жестокость, является убийство: "Доказано, что бывают добродетели, сохранение которых для некоторых людей невозможно, подобно тому, как есть лекарства, не подходящие для определенного темперамента. Так какой же вершины

достигнет ваша несправедливость, если ваш закон порази того, кто не в состоянии ему подчиниться?.. Из этих первых принципов вытекает, как можно догадаться, необходимость принятия мягких законов и прежде всего решительной отмены отвратительной смертной казни, потому что холодный по определению закон не может стать доступным для страстей, способных узаконить в душе человека такое жестокое деяние, как убийство; человек получает от природы впечатления, могущие заставить его простить такой поступок, а закону, всегда, напротив, находящемуся в оппозиции к природе и ничего не получающему от нее, не может быть дозволено руководствоваться теми же мотивами, невозможно, чтобы он обладал и теми же правами...".

Правление, родившееся из убийства Бога и существующее лишь благодаря убийству, заведомо утратило право выносить смертный приговор и, следовательно, не способно осудить всякое другое преступление: "Республиканское правление, окруженное деспотами, сможет сохраниться лишь благодаря войне, а есть ли что-либо более безнравственное, чем война?.. Является ли убийство преступлением в политике? Напротив, мы вынуждены высказать смелое утверждение, что, к несчастью, оно — одна из основных пружин политики. Франция свободна сегодня благодаря совершенным убийствам, не правда ли?.. Какая из областей человеческого знания больше [чем политика] нуждается в убийстве, чтобы поддерживать себя, более других стремится к обману, имея своей единственной целью приумножение благ одной нации в ущерб другой?.. Как же слеп человек, который на виду у всех обучает искусству убивать и самым щедрым образом вознаграждает того, кто преуспел в этой науке лучше других, и в то же время наказывает того, кто из личных побуждений отделался от своего врага! "Я дарю вам жизнь, — сказал Людовик XV, обращаясь к Шароле<sup>3</sup>, который только что убил человека ради забавы, — но я так же помилую того, кто убьет

вас". Все основы закона, направленного против убийц, заключены в этих высочайших словах". Мы видим, что здесь Сад очень кстати вспомнил о принципах существования прежней монархии, безнравственность которой Республика должна была бы в итоге освятить: "Я спрашиваю, каким образом удастся доказать, что в безнравственном по своим обязательствам государстве необходимо, чтобы индивиды были моральными? Я смею даже утверждать: хорошо, чтобы они не были таковыми... Восстание — это не моральное состояние; и, однако, оно должно быть постоянным состоянием республики; таким образом, было бы столь же нелепо, как и опасно, требовать от тех, кто призван вечно поддерживать безнравственное разрушение [социальной] машины, чтобы сами они были существами нравственными; потому что нравственное состояние человека — это состояние покоя и мира; безнравственное же состояние — состояние вечного движения, приближающее человека к необходимости восстания, и в таком состоянии республиканец должен поддерживать строй, членом коего он является, постоянно".

В начале своего сочинения Сад заявлял, что посредством атеизма детям следует внушать превосходные общественные принципы; затем он одно за другим изложил следствия, из этого вытекающие: они должны ввергнуть общество в состояние вечного движения, в состояние перманентной безнравственности, то есть неизбежно привести к его же собственному разрушению.

## V

В итоге картина общества, пребывающего в состоянии перманентной безнравственности, представляется чем-то вроде утопии зла; эта парадоксальная утопия соответствует вероятному состоянию нашего современного общества; в то время как утопическое осознание человеческих возможностей предвосхищает потенциальный

прогресс, садистское сознание предвосхищает потенциальный регресс (такое предвосхищение является тем более ирреальным, что [научный] метод поставлен на службу регресса). Таким образом, в отличие от утопий добра, которые грешат тем, что абстрагируются от дурных реальностей, смысл утопии зла состоит в том, чтобы систематически абстрагироваться не от возможностей добра, но от важного фактора, каковым является скука: ибо, если чаще всего скука порождает зло, то она становится еще более сильной, когда зло свершилось, подобно тому, как за преступлением, если его единственной целью было это преступление совершить, следует отвращение. Сад сохраняет лишь реальности зла, уничтожая их временный характер: в самом деле, одно зло заполняет, таким образом, каждое мгновение социальной жизни, разрушая одно мгновение другим. Рожденное скукой и отвращением Сада, утопическое общество, находящееся в состоянии перманентной криминальности (если отнестись к этой утопии буквально и если идеологам зла вздумалось бы претворить ее в жизнь), неизбежно оказалось бы погруженным в атмосферу отвращения и скуки, а против отвращения и скуки не существует иного лекарства, кроме совершения новых преступлений *ad infinitum*<sup>4</sup> \*.

## VI

В качестве более глубокого по отношению к Революции можно представить здесь своего рода моральный заговор, целью которого было бы заставить праздное человечество, утратившее чувство своей общественной необходимости, осознать свою виновность. Заговор, который обслуживался бы двумя методами: экзотериче-

\* Этот пассаж, равно как и следующий, свидетельствуют о тенденции в рассуждениях автора в эпоху, когда он писал это исследование. "Утопия Зла" абстрагируется не только от "скуки", но и от функционального, то есть утилитарного характера, который институты определенной социальной среды придают действию импульсивных

ским, представленным Жозефом де Местром с его социологией первородного греха, и методом эзотерическим, бесконечно сложным, состоящим в том, чтобы, надев на себя маску атеизма, с этим атеизмом бороться; и, говоря на языке морального скептицизма, с этим моральным скептицизмом сражаться, с единственной целью отнять у разума все, что он способен отдать, дабы продемонстрировать его ничтожество.

Чтение памфлета Сада не может не вызывать недоумения. Мы поддаемся искушению задать вопрос: не хотел ли Сад на свой лад дискредитировать нетленные принципы 89-го года; не приступил ли этот опальный вельможа к анализу философии Просвещения с одним намерением — выявить ее сумрачные глубины?

И тут мы снова возвращаемся к вопросам, поставленным в начале: не воспринимаем ли мы Сада буквально, не предстает ли он перед нами как одно из самых передовых и разоблачительных проявлений обширного процесса общественного разложения и переустройства, превращаясь в некое подобие нарыва, который, вздув-

(продолжение)

сил. Если речь здесь идет об утопии “Зла”, то значит Сад, воспользовавшись языком самих этих институтов, выражает идеал человеческой группы, которая, дабы заявить о своем “перманентном восстании”, исходя из “состояния вечного движения” ее членов, осознавала бы тот факт, что она основывается не на чем ином, как на действии импульсов, освобожденных от всякой идеологической легитимации: поведение индивидов, как и природа их поступков, тотчас оказались бы принципиально иными. Именно в этом заключался бы тогда смысл утопических высказываний Сада: ибо, если отвращение, скука следуют за преступлением, совершенным с единственной целью это преступление совершить, то идея подобного преступления могла бы родиться только в существующем институциональном контексте, и за этим преступлением следовала бы подобная же скука, либо спад интенсивности; функциональность институционально структурированных импульсов настолько сильна, что индивиду лишь очень редко удается поддерживать себя на уровне импульсивной интенсивности, как только она, в качестве средства, перестает соответствовать цели, поставленной институтами, либо их сохранению как таковых, некоему трансцендентному смыслу, всеобщему Благу. Истинная проблема состоит скорее в том, чтобы установить, что в состоянии “перманентного восстания” продолжало бы структурировать импульсивные силы и в каких актах эти силы осознавали бы себя как не имеющие иной цели, кроме себя самих.

шись на больном теле, возомнил бы себя вправе от имени этого тела говорить? Его политический нигилизм был бы в таком случае, так сказать, лишь пагубным эпизодом коллективного процесса; его апология чистого преступления, его призыв к тому, чтобы пребывать в преступлении, были бы лишь попыткой извратить политический инстинкт, то есть инстинкт самосохранения коллектива. Ибо народ с глубоким удовлетворением предается уничтожению тех, кто ему противоположен; коллектив всегда — справедливо или ошибочно — чувствует, что для него пагубно, и поэтому скорее всего спутает жестокость и справедливость, не испытывая при этом каких-либо угрызений совести, ибо ритуалы, которые он способен изобрести у подножия эшафота, освободят его от необходимости прибегнуть к чистой жестокости, каковую он умеет придать своему облику и своим средствам.

Остановимся на отрывке из памфлета Сада, содержащим следующее предупреждение: “Пусть меня не обвиняют в том, что я изобрел нечто опасное; пусть не говорят, что рискованно, как можно заключить из этих писаний, смягчать угрызения совести в душах преступников, что самое большое зло состоит в том, что мягкостью своей речи я поощряю склонность этих злодеев к преступлениям. Я категорически заявляю здесь, что не преследую ни одной из этих целей; я излагаю идеи, которые с сознательного возраста созревали во мне и распространению которых противился в течение многих веков гнусный деспотизм тиранов; тем хуже для тех, кого эти великие идеи смогут совратить; те, кто почерпнет одно лишь зло в философских рассуждениях, способны развратиться от чего угодно. Кто знает, может быть, на них окажет дурное влияние чтение Сенеки или Шаррона? Я разговариваю не с ними; я обращаюсь только к тем людям, которые способны меня понять, и они прочтут меня, не подвергаясь опасности”.

Здесь обнаруживает себя высшая степень осознания, дающая возможность охватить всю совокупность про-

цессов разложения и переустройства. Поэтому, помня о склонности Сада к преувеличениям, мы должны признать, что она выполняет функцию разоблачения темных сил, закамуфлированных под социальные ценности с помощью механизмов коллективной защиты; замаскированные таким образом, эти темные силы могут вести в пустоте свой inferнальный хоровод. Сад не побоялся связаться с этими силами, но он вступил в танец лишь для того, чтобы сорвать маски, надетые на эти силы Революцией, дабы придать им пристойный облик и позволить “детям Отечества” безнаказанно их применять.

## Морис Бланшо. *Сад*<sup>1</sup>

В 1797 г. в Голландии вышла в свет “Новая Жюстина, или Несчастья Добродетели, продолженная Историей Жюльетты, ее сестры”. Это монументальное творение, разросшееся в процессе нескольких авторских переизданий — работа едва ли не бесконечная, почти четыре тысячи страниц — сразу же ужаснуло всех. Если в библиотеках имеется свой Ад<sup>2</sup>, то как раз для таких книг. Пожалуй, ни в какой литературе никакой эпохи не было столь скандального произведения, никто другой не ранил глубже чувства и мысли людей. Кто даже и сегодня осмелится поспорить в разнузданности с Садом? Да, мы вправе заявить, что имеем дело с самым скандальным из когда-либо созданных литературных произведений. Разве это не достаточный повод, чтобы им заняться? Нам выпал шанс познакомиться с сочинением, за пределы которого никогда не сумел выбраться ни один другой писатель, мы, таким образом, в каком-то смысле имеем под рукой, в столь относительном литературном мире, истинный абсолют — и мы не пытаемся его обследовать? даже не подумаем разузнать, почему он непревзойден и что же в нем такого чрезмерного, извечно неподсильного человеку? Странное небрежение. Но, может быть, только по причине этого небрежения и столь чист связанный с ним скандал? Когда видишь меры предосторожности, предпринятые историей, чтобы превратить Сада в колоссальную загадку, когда думаешь о двадцати семи годах, проведенных им за решеткой, о запретном существовании в заточении, когда лишение свободы захватывает не только прижизненную жизнь человека, но и его жизнь загробную, так что одиночное заключение

его творчества осуждает, кажется, его самого, еще живого, на вечную тюрьму, невольно спрашиваешь себя, не находятся ли на самом деле цензоры и судьи, якобы замуровавшие Сада, у него на службе, не исполняют ли они самые близкие чаяния его либертинажа, его упование на одиночество земных недр, на таинство подпольного, затворнического существования. Сад на десятки ладов формулировал ту идею, что грандиознейшие человеческие излишества требуют скрытности, темноты и бездны, неприкосновенного одиночества камеры-кельи. И вот, странная штука, именно хранители морали, обрекая его на одиночную камеру, и предстали в качестве сообщников самого законченного имморализма. Это его теща, лицемерно добродетельная мадам де Монтрей, превратив его жизнь в тюрьму, обратила это существование в шедевр гнусности и разврата. И если столько лет спустя "Жюстина и Жюльетта" продолжает казаться нам самой скандальной книгой, которую только можно прочесть, то это все потому, что прочесть ее почти невозможно, потому, что автором, издателем — при пособничестве всеобщей морали — были приняты все меры к тому, чтобы книга эта осталась в секрете, тайной, совершенно нечитаемым произведением, нечитаемым как из-за своей протяженности, своего построения, постоянных повторов, так и из-за силы своих описаний и своей непристойной кровожадности, каковые только и могли увлечь ее в ад. Скандальная книга, ибо к ней не очень-то и возможно приблизиться, и никто не в состоянии предать ее гласности. Но и книга, которая к тому же показывает, что нет скандала без уважения, и что там, где скандал чрезвычайен, уважение предельно. Кто более уважаем, чем Сад? Еще и сегодня кто только свято ни верит, что достаточно ему подержать несколько мгновений в руках проклятое творение это, чтобы сбылось исполненное гордыни высказывание Руссо: обречена будет каждая девушка, которая прочтет одну-единственную страницу из этой книги. Для литературы и цивилизации

подобное уважение является, конечно же, сокровищем. Поэтому не удержаться от скромной внятности наказа всем нынешним и грядущим издателям и комментаторам: уважайте в Саде по крайней мере его скандальность!

По счастью, Сад хорошо защищается. Не только его творения, но и его мысль остается непроницаемой — и это при том, что теоретические построения присутствуют здесь в огромном количестве, что повторяет он их с приводящим в замешательство терпением, что рассуждает он самым понятным образом и с более чем достаточной логикой. Его воодушевляет вкус и даже страсть к системе. Он высказывается, он утверждает, он доказывает, он по сто раз возвращается к одной и той же проблеме (и сто раз — это еще слабо сказано!), он рассматривает все ее грани, он предвидит все возражения, он на них отвечает, находит другие, отвечает и на них тоже. И поскольку то, что он говорит, вообще-то довольно просто, поскольку язык его хотя и избыточен, но точен и тверд, кажется, что нет ничего проще, чем понять идеологию, которая у него неразрывно связана со страстями. И однако, каково же содержание садовской мысли? Что же он в точности сказал? Где в его системе порядок, где она начинается и где кончается? И есть ли что-либо большее, чем тень системы, в ходах этой мысли, столь [многим] обремененной рассудку? И почему стольким замечательно согласованным принципам не удастся образовать прочное целое, которое они должны были бы составить, которое с виду они даже и образуют? Это тоже отнюдь не кажется ясным. Такова первая особенность Сада. Дело в том, что его теоретические построения каждый миг высвобождают связанные с ними иррациональные силы; силы же эти их одновременно и воодушевляют, и отвлекают таким посылом, которому мысли сопротивляются и поддаются, стремятся его подчинить, в самом деле подчиняют, но добиваются этого, лишь высвобождая другие темные силы, каковые вновь их

влекут, ими становятся и их извращают. Отсюда следует, что все сказанное явно оказывается во власти чего-то, что сказано не было; чуть позже это невысказанное показывается и подхватывается логикой, но, в свою очередь, подчиняется движению некоей еще сокрытой силы; в конце все проявлено, все получает выражение, но все в то же время вновь погружено во тьму необдуманых и неформулируемых мыслей.

Затруднение читателя перед этой мыслью, которая освещается лишь по заказу другой мысли, каковая сама в этот момент проясниться не может, часто бывает очень велико. Оно тем больше, что принципиальные декларации Сада, то, что можно назвать основой его философии, кажутся самой простотой. Эта философия — философия заинтересованности, более того, всеобщего эгоизма. Каждый должен делать то, что ему приятно, он не имеет другого закона, кроме своего удовольствия. Мораль эта основана на первоначальном факте абсолютно-го одиночества. Сад сказал и повторял на разные лады: природа понудила нас родиться одиночками, и нет никаких связей между одним человеком и другим. Тем самым, единственное правило поведения — предпочитать все, что действует на меня благоприятно, не затрудняя себя отчетом в последствиях, которые этот выбор может повлечь для других. Какая важность, если самое слабое свое наслаждение я должен оплатить неслыханным нагромождением злодеяний, ибо наслаждение меня нежит, оно во мне, ну, а последствия преступления меня не касаются, они — вне меня.

Эти принципы ясны. Развитые на тысячу ладов, они отыскиваются заново во всех двадцати томах. Сад ими не пресыщается; ему бесконечно приятно приводить их в соответствие с модными теориями, теориями равенства индивидуумов перед природой и перед законом. Он предлагает в этой связи рассуждение следующего типа: поскольку все существа тождественны в глазах природы, эта тождественность дает мне право не приносить

себя в жертву сохранению других, тех, чья гибель необходима для моего счастья. И вот, он формулирует что-то вроде Декларации Прав Эротизма, в качестве фундаментального принципа которой — следующая максима, справедливая как для женщин, так и для мужчин: отдаваться всем, кто того желает, овладевать всеми, кого хочешь. “Какое зло я причиню, какое нанесу я оскорбление, сказав повстречавшемуся мне прекрасному созданию: предоставьте мне часть своего тела, которая способна меня на миг удовлетворить, и наслаждайтесь, если вам угодно, моею, которая может быть вам приятна?”. Саду подобные предложения кажутся неопровержимыми. На протяжении долгих страниц он ссылается на равенство индивидуумов, взаимность прав, не замечая, что его рассуждения, отнюдь этим не подтверждаемые, становятся из-за этого бессмысленными. “Никогда акт обладания не может быть свершен над свободным существом”, — говорит он. Но что же он отсюда выводит? Вовсе не то, что запрещено совершать насилие над любым существом и наслаждаться им против его воли, но что никто, чтобы ему отказать, не может использовать в качестве предлога какие-либо исключительные связи, предшествующее право “обладания”. Равенство существ — это право в равной степени располагать ими всеми; свобода — это возможность подчинить каждого своим желаниям.

Когда видишь, как одна за другой следуют подобные формулы, говоришь себе, что в доводах Сада имеется некая лакуна, нехватка, безумие. Появляется ощущение глубоко разлаженной мысли, странно повисшей над пустотой. Но, вдруг, ее подхватывает логика, появляются возражения и мало-помалу образуется система. Жюстина, которая, как известно, представляет в этом мире добродетель, стойкая, смиренная, все время притесняемая и несчастная, но которую никогда не убедить в ее неправоте, внезапно заявляет чрезвычайно рассудительным образом: “Ваши принципы предполагают

власть; ежели мое счастье состоит в том, чтобы никогда не принимать во внимание интересы других, делать им при случае зло, то неминуемо наступит день, когда интересы других потребуют делать зло мне; во имя чего буду я тогда протестовать?”. “Может ли самоизолировавшаяся личность бороться против всех?”. Классическое возражение, не так ли? Садовский человек отвечает на это и неявно, и явно — на множество ладов, малопомалу препровождающих нас в самое сердце вселенной — его вселенной. Да, заявляет он прежде всего, мое право — это право власти. И в самом деле, общество Сада по сути состоит из весьма малого числа всемогущих людей, у которых оказалось достаточно энергии, чтобы возвыситься над законами и над предубеждениями, чувствующих себя достойными природы из-за тех отклонений, которые она в них заложила и которые всеми средствами ищут своего утolenия. Эти несравненные люди принадлежат обычно к привилегированному классу: это герцоги, короли, это папа, тоже выходец из знати; они пользуются выгодами и преимуществами своего ранга, своего состояния, безнаказанностью, обеспечиваемой им их положением. Своему рождению они обязаны привилегией неравенства, усовершенствованием которой путем беспощадного деспотизма они и ограничиваются. Они самые сильные, поскольку составляют часть сильного класса. “Я называю Народом, — говорит один из них, — тот ничтожный и презренный класс, который может жить лишь трудясь и добывая хлеб в поте лица; все, что дышит, должно объединиться против его низости”.

Однако, вне всякого сомнения, если чаще всего эти суверены разврата к своей выгоде концентрируют в себе всю полноту классового неравенства, то это не более чем историческое обстоятельство, в котором Сад не отдавал себе отчета в своих оценочных суждениях. Он в совершенстве распознал, что власть в эпоху, когда он писал, есть категория социальная, что она вписана в орга-

низацию общества, будь то до- или послереволюционного, но он к тому же верит, что власть (как, впрочем, и одиночество) — не только состояние, но выбор и завоевание, что лишь тот могуществен, кто сумеет стать таковым посредством своей собственной энергии. На самом деле его герои рекрутированы из двух противоположных кругов: самого верхнего и самого нижнего, из наиболее привилегированного класса и класса наиболее притесняемого, из великих мира сего и из самых низких подонков. И те, и другие в качестве отправной точки обнаруживают нечто предельное, что им и благоприятствует: предельность нищеты оказывается столь же мощной пружиной, как и головокружение от удачи. Когда являешься какой-нибудь Дюбуа или Дюран, восстаешь против законов, потому что находишься настолько ниже их, что просто не можешь им следовать и не погибнуть. А когда ты — Сен-Фон или герцог де Бланжи, ты настолько выше законов, что тебе нельзя им подчиниться и при этом не захиреть. Вот почему в произведениях Сада апология преступления опирается на противоречащие друг другу принципы: для одних неравенство есть природный факт, некоторые люди необходимо являются рабами и жертвами, у них нет никаких прав, они — ничто, по отношению к ним все дозволено. Отсюда и все его неистовые хвалы тирании, все политические установления, предназначенные сделать невозможным ни при каком раскладе реванш слабого и обогащение бедного. “Намерения природы таковы, — говорит Верней, — что в них непременно наличествует некий класс индивидуумов, в полной мере подчиненных другим по причине своей слабости и своего происхождения”. — “Закон писан не для народа... Суть каждого мудрого правления — чтобы народ не захватил власть у сильных мира сего”. И Сен-Фон: “Народ будет содержаться в рабстве, чтобы он никогда не смог посягнуть на владычество богатых или попытаться преуменьшить их собственность”. Или еще:

“Все то, что называют преступлениями либертинажа, может подвергаться наказанию лишь в рабских кастах”.

Мы тут, вроде бы, оказываемся перед лицом самой безумной теории самого абсолютного деспотизма. Но вдруг перспектива меняется. Что говорит Дюбуа? “Всех нас природа породила равными; если року угодно расстроить этот первичный замысел общих законов, на нашу долю выпадет исправить его капризы и вернуть себе, используя всю нашу ловкость, присвоенное сильнейшими. В то время как наша добросовестность, наше терпение послужат лишь преумножению наших оков, преступления наши станут добродетелями, и мы были бы совсем простофилями, если бы отказались от них, чтобы чуть уменьшить взваленное на нас иго”. И она добавляет: бедным одно только преступление открывает двери в жизнь; злодейство есть возмещение несправедливости, так же как кража — это месть неимущих. Итак, теперь ясно различаешь: равенство, неравенство, свобода угнетения, восстание против угнетателя — всего лишь чисто временные аргументы, которыми, следуя различию в социальном статусе, утверждается право садовского человека на власть. Вскоре, к тому же, разница между теми, кому преступление необходимо, чтобы существовать, и теми, кто наслаждается существованием лишь посредством преступления, стирается. Дюбуа становится баронессой. Дюран, низкопробная отравительница, возвышается над княгинями, которых Жюльетта без колебаний приносит ей в жертву. Графы превращаются в главарей банд, в разбойников или же содержателей постоялых дворов, чтобы лучше обирать и убивать простаков. И наоборот, большинство жертв либертинажа выбраны среди аристократии, нужно, чтобы они были благородного происхождения, и именно графине, своей матери, возвещает с высокомерным презрением маркиз де Брессак: “Твои дни принадлежат мне, ну а мои священы”.

Ну и что же теперь происходит? Несколько человек

стали могущественными. Некоторые были таковыми по праву своего рождения, но они показали, что заслуживают этого могущества тем, что его приумножили и им наслаждались. Другие таковыми стали, и знаком их успеха служит то, что, прибегнув к преступлению, чтобы стяжать власть, они пользуются этой властью, чтобы снискать свободу для всех преступлений. Таков этот мир: несколько существ, вознесшихся выше всего, — и вокруг них, до бесконечности, безымянная и бесчисленная пыль индивидуумов, не имеющих ни прав, ни власти. Посмотрим, что же происходит тогда с правилом абсолютного эгоизма. Я думаю так, как мне нравится, говорит герой Сада, я знаю только свое удовольствие; чтобы его обеспечить, я мучаю и убиваю. Опасность подобной же участи грозит и мне — в тот день, когда я встречу кого-либо, кому для полного счастья будет необходимо меня помучить и меня убить. Но я как раз-таки и обрел власть, чтобы подняться над этой угрозой. Когда Сад предлагает нам ответы подобного толка, мы отлично чувствуем, как соскальзываем к какой-то стороне его мысли, которая держится лишь на темных силах, его мыслью скрываемых. Что же это за власть, которая не боится ни случайности, ни закона, которая высокомерно подвергает себя ужасному риску, выраженному в формуле: я причиню вам любое зло, какое только захочу, причините мне любое зло, какое только сможете, — под тем предлогом, что эта формула всегда обернется ей на пользу? Ведь, отметим это, чтобы рухнули принципы, достаточно единственного исключения: если единственный раз носитель власти натолкнется на неудачу в поисках единственного своего удовольствия, если в осуществлении своей тирании он хотя бы раз станет жертвой, он пропадет, закон удовольствия окажется обманом, и люди, вместо того, чтобы стремиться к триумфу через излишества, вновь начнут свою посредственную жизнь, беспокоясь о малейшем зле.

Сад это знает. “А если удача отвернется?” — спраши-

вает его Жюстина. И вот он уходит еще глубже в свою систему, чтобы показать, что с человеком, который энергично связал себя со злом, никогда не может случиться ничего плохого. Это основная тема его творчества: добродетели — все напасти, пороку — счастье постоянного процветания. Подчас, особенно в первых редакциях “Жюстины”, это утверждение кажется просто искусственным тезисом, который под видом доказательства иллюстрирует устройство некоей истории, хозяином которой является автор. Говорят, что Сад отделяется баснями, что он слишком уж запросто полагается на некое черное Провидение, чья функция — дать самое лучшее тому, кто выбрал наихудшее. Но в “Новой Жюстине” и в “Жюльетте” все меняется. Наверняка Сад глубоко убежден, что абсолютно эгоистичный человек никогда не может попасть в беду; более того, он будет в высшей степени счастлив, причем счастлив всегда, безо всяких исключений. Мысль безумная? Быть может. Но в нем эта мысль связана с силами столь неистовыми, что, в конце концов, они делают в его глазах неопровержимыми поддерживаемые ими идеи. По правде говоря, перевод этой уверенности в теорию не обходится без затруднений. Он прибегает к нескольким решениям, он без устали пробует их, хотя ни одно не может его удовлетворить. Первое чисто словесно: оно состоит в отказе от общественного договора, который, по Саду, служит охраной для слабых и составляет для сильных серьезную теоретическую угрозу. В самом деле, на практике власть имущий отлично умеет пользоваться услугами законов, чтобы упрочить свое самоуправство, но тогда он могуществен только через закон, и именно закон — теоретически — воплощает власть и могущество. Пока не царит анархия или не разразилась война, Суверен всего-навсего суверенен, ибо даже если закон помогает ему раздавить слабых, все же именно благодаря системе власти, созданной во имя слабых и замещающей силу одинокого человека ложной связью [общественного] договора, ста-

новится он господином. “Неизмеримо меньше стоит бояться страстей ближнего, нежели несправедливости закона, ведь страсти этого ближнего сдерживаются моими, в то время как ничто не остановит, ничто не ограничит несправедливости закона”. Ничто не остановит закон, потому что нет ничего над ним, и он отныне всегда над мною. Вот почему, даже если он мне служит, он меня ужасает. И поэтому же Сад смог примкнуть к Революции только в той степени, в какой она (будучи переходом от одного закона к другому) на некоторое время представляла возможность некоего режима без закона, что он и выразил в следующих любопытных замечаниях: “Царство законов уступает место царству анархии: самым главным доказательством моего мнения является то, что любое правительство обязательно погружается в анархию, когда оно хочет переделать свою конституцию. Чтобы упразднить свои старые законы, оно обязано установить революционный режим, в котором нет закона: из этого режима, в конце концов, и рождаются новые законы, но это второе состояние обязательно менее чисто, чем первое, поскольку оно производно от него...”.

В действительности Власть довольна любым режимом. Всем она отказывает в авторитете и посреди искаженного законом мира создает себе вотчину, где закон смолкает, замкнутое место, где законная и суверенная власть не оспаривается, но, скорее, игнорируется. В уставе “Общества Друзей Преступлений” имеется статья, запрещающая его членам всякую политическую активность. “Общество уважает то правительство, под управлением которого оно живет, и если оно ставит себя выше законов, то потому, что среди его принципов — отсутствие у человека способности создать законы, противоречащие законам природы; при этом беспорядки, учиняемые его членами, всегда внутренние, никогда не должны возмущать ни управляемых, ни правящих”. И если в сочинениях Сада случается, что власть осуществляет

политическую задачу и связывается с революцией, как, например, в случае Боршана, который договорился с Северной Ложей о свержении шведской монархии, вдохновляющие ее мотивы не имеют ничего общего с желанием раскрепостить закон. “Какие же мотивы заставили вас возненавидеть шведский деспотизм?” — спрашивают у одного из заговорщиков. — “Зависть, честолюбие, гордыня, отчаяние от подчиненного положения, желание самому тиранизировать других”. — “Счастье других каким-то образом учитывается вашими взглядами?” — “Я вижу здесь только свое собственное”.

В крайнем случае, Власть всегда может утверждать, что ей нечего бояться простых людей, которые слабы, и нечего опасаться закона, законность которого она не признает. Истинная же проблема — проблема отношений между Властью и властью. Эти несравненные люди, пришедшие с самого верха или с самого низа, с необходимостью встречаются: их сближают сходные вкусы; тот же факт, что они являются исключениями, делая их изгоями, также объединяет их. Но каким же может быть отношение между двумя исключениями? Этот вопрос, конечно же, весьма занимал Сада. Как всегда он переходит от одного решения к другому, чтобы, в конце концов, по завершении своих логических построений, обнаружить единственное важное для него в этой загадке слово. Когда он изобретает тайное общество, управляемое строгими, призванными смягчить чрезмерность излишеств соглашениями, извинением ему служит мода, ибо жил он во времена, когда франк-масонство либерте-нов, да и просто франк-масонство, породили в лоне лежащего в руинах общества множество маленьких обществ, тайных коллегий, базирующихся на согласии страстей и общем почитании опасных идей. “Общество Друзей Преступлений” — один из опытов подобного толка. Устав его, долго анализируемый и изучаемый, запрещает членам общества предаваться в своей среде диким, кровожадным страстям, утолять которые допу-

скается только в двух сералах, пополняемых представителями добродетельных классов. Между собой члены общества должны “откликаться на все фантазии и все выполнять”, кроме, говорит Сад, страстей жестоких. Ясно почему: дело том, что во что бы то ни стало надо помешать встретиться на той почве, где зло может стать их несчастьем, людям, которые не должны ожидать от зла ничего кроме удовольствия. Высшие либертены союзничают, но не встречаются.

Сада подобный компромисс удовлетворить не может. К тому же нужно заметить, что хотя герои его книг постоянно объединяются, следуя соглашениям, фиксирующим пределы их власти и приводящим в порядок их беспорядки, возможность измены никуда не исчезает: напряжение между соучастниками продолжает расти вплоть до того, что в конце концов они менее связаны объединяющей их клятвой, чем взаимной потребностью эту клятву нарушить. Эта ситуация и делает столь драматичной всю последнюю часть “Жюльетты”. У Жюльетты есть принципы. Она уважает либертинаж, и когда ей встречается законченный злодей, совершенство наблюдаемого ею преступления и заключенная в нем разрушительная мощь не только побуждают ее к нему присоединиться, но и, хотя этот союз и становится для нее опасным, приводят к тому, что она при возможности его щадит. Так, она, хотя ей и грозит опасность быть убитой чудовищем Минским, отказывается от его убийства. “Этот человек слишком вреден для человечества, чтобы я избавила от него вселенную”. И еще один персонаж, автор истинных шедевров сладострастия, да, в конце концов, она его умерщвляет, но только потому, что заметила, как после своих кровавых оргий он взял за правило уединяться в часовне, чтобы очистить от греха свою душу. Уж не будет ли совершенный преступник укрыт от действия страстей, которым он сам предается? Уж не существует ли принцип, некий окончательный принцип, следуя которому либертен не может быть ни

объектом, ни жертвой своего собственного распутства? “Сто раз ты мне говорила, — обращается к Жюльетте мадам де Дони, — что развратницы не вредят друг другу; уж не будешь ли ты отрицать эту максиму?”. Ответ ясен: она ее отрицает, мадам де Дони приносится в жертву; и мало-помалу самые любимые сообщники, самые уважаемые партнеры по разврату падают жертвами то своей верности, то своего вероломства, то пресыщения, то пылкости чувств. Ничто не в силах их спасти, ничто их не извиняет. Едва Жюльетта обрекла на смерть своих лучших друзей, как уже она обращается к новым союзникам и обменивается с ними клятвами в вечном доверии. Клятвами, над которыми они сами насмеваются, поскольку им известно, что пределы своим излишествам они предписывают лишь для того, чтобы иметь удовольствие их преступить.

Следующий разговор между несколькими преступниками высшего класса достаточно удачно подытоживает эту ситуацию. Один из них, Жернан, говорит о своем двоюродном брате Брессаке: “Вот он, мой наследник; и бьюсь об заклад, что моя жизнь не выводит его из терпения: у меня те же вкусы, тот же образ мыслей, он уверен, что найдет во мне друга”. Ну, конечно, говорит Брессак, я никогда не причиню вам ни малейшего зла. Однако тот же Брессак замечает, что другой из его родственников, д’Эстерваль, который специализируется на убийстве путешественников, на грани того, чтобы его убить. “Да, — говорит д’Эстерваль, — как родственник, но ни в коем случае не как собрат по разврату”. Брессак, однако, сомневается, и они на самом деле приходят к соглашению, что это соображение вряд ли должно удерживать Доротею, жену д’Эстерваля. Ну и что же отвечает на это сама Доротея? “В вашем приговоре заключена хвала. Жуткая моя привычка умерщвлять людей, которые мне нравятся, ставит ваш приговор рядом с моим признанием в любви”. Тут все ясно. Но что при таких условиях станется с тезисом Сада о благополучии и счастье во Зле,

что станется с достоверностью его человека, всегда счастливого, если он обладает всеми пороками, обязательно несчастного, если он обладает хотя бы одной добродетелью? В самом деле, его сочинения усыпаны трупами либертенов, поверженных на вершине славы. Беда задевает не только ни на кого не похожую Жюстину, но и бесподобную Клервиль, самую энергичную, самую сильную героиню Сада, но и Сен-Фона, убитого Нуарсем, беспутную Боргезе, сброшенную в жерло вулкана, сотни других законченных преступников. Странная развязка, специфический триумф этих извращенцев! Как же удастся безумному разуму Сада пребывать в ослеплении перед лицом такого количества представленных им же самоопровержений? Дело все в том, что для него как раз эти опровержения и являются доказательствами — и вот почему.

Когда рассеянно читаешь “Жюстину”, легко обмануться в этой достаточно грубой и непристойной истории. Наблюдаешь, как добродетельную девушку, эту жертву упорствующей в ее изничтожении судьбы, беспрерывно насилуют, бьют, мучают; ну а в “Жюльетте” видишь порочную девицу, перепархивающую от наслаждения к наслаждению. Подобная интрига ничуть нас не убеждает. Но все дело тут в том, что мы не обратили внимания на самое важное обстоятельство: внимательно следя только за скорбью одной и удовлетворенностью другой, мы упустили из виду, что по существу истории двух сестер идентичны, что все происходившее с Жюстиной происходило и с Жюльеттой, что и одна, и другая сталкивались с одними и теми же обстоятельствами, подвергались одним и тем же испытаниям. Жюльетта тоже была брошена в тюрьму, избиваема, приговорена к пыткам, без конца мучима. Ужасно ее существование, и однако — беды эти доставляют ей удовольствие, муки ее восхищают. “Как изумительны оковы, наложенные любезным тебе преступлением”. Не говоря уже о тех особенных мучениях, которые столь

ужасны для Жюстины и так приятны Жюльетте. Во время одной из сцен, разворачивающихся в замке несправедного судьи, мы видим, как несчастная Жюстина подвергается пыткам поистине отвратительным; ее страдания неслыханны, не знаешь, что и подумать о подобной несправедливости. Ну и что же происходит? Одна совершенно порочная девица, присутствующая при этой сцене, воспламененная этим зрелищем, требует, чтобы ее тут же подвергли такой же пытке. И она получает от нее бесконечное наслаждение. Так что и в самом деле верно, что добродетель доставляет людям несчастье, но не потому, что она насылает на них несчастные случаи и события, но потому, что ежели ты избавился от добродетели, бывшее ранее несчастьем и неудачей станет поводом для удовольствия, а мучения преисполнятся сладострастия.

Для Сада суверенный человек недоступен злу, поскольку никто не может причинить ему зло; он — человек, открытый всем страстям, и его страсти во всем находят свое удовлетворение. Иногда принимают как выражение слишком остроумного, чтобы быть верным, парадокса заключение Жана Полана<sup>3</sup>, который за садовским садизмом выявил совершенно противоположные склонности. Но на самом деле видно, что эта идея лежит в основе всей системы. Всецело эгоистический человек — это тот, кто умеет превратить неприятное в приятное, отвратительное в притягательное. В качестве философа в будуаре он утверждает: “Я люблю все, все меня забавляет, я хочу соединить все и вся”. Вот почему в “120 днях Содома” Сад взялся за гигантскую задачу — составить полный перечень всех человеческих аномалий, отклонений, возможностей. Он, чтобы ничему не сдаться на милость, должен испытать все. “Ты ничего не узнаешь, если ты всего не узнал, и если ты достаточно робок, чтобы запутаться в отношениях с природой, она ускользнет от тебя навсегда”.

Понятно, почему возражение печальной Жюстины

“А если удача отвернется?” не может смутить преступную душу. Удача может отвернуться и стать неудачей, но она будет лишь какой-то новой удачей, столь же желанной, столь же удовлетворительной, что и предыдущая. Но вы же рискуете кончить на эшафоте! Вас ждет, быть может, самая позорная смерть! — Это мое самое драгоценное желание, отвечает либертен. “О, Жюльетта, — говорит Боргезе, — мне бы хотелось, чтобы мое распутство сулило мне участь последнего из отверженных. Сам эшафот был бы для меня тронм сладострастия, я бы не боялась смерти на нем, наслаждаясь тем, что умираю как жертва собственных злодеяний”. И другая: “Истинный либертен любит и те упреки, которые он заслужил своими отвратительными поступками. Разве не видали мы таких, кто любил и уготованные им людской местью пытки, кто сносил их с радостью, кто смотрел на эшафот как на трон славы, не погибнуть на котором с той же смелостью, что вдохновляла их в отвратительных злодействах, было бы весьма досадно? Таков человек на последней ступени продуманной испорченности”. Что может закон против такой Власти? Он ее якобы карает — и ее вознаграждает, вдохновляет, ее унижая. И, кроме того, что может либертен против ему подобного? Однажды он его предаст, он его уничтожает, но это предательство доставляет свирепое удовольствие своей жертве, тому, кто видит, как тем самым подтверждаются все его подозрения, и умирает, переполненный сладострастием, поскольку он послужил поводом для нового преступления (не говоря уже о других радостях). Одну из наиболее примечательных героинь Сада зовут Амелия. Она живет в Швеции; однажды она узнает Боршана, заговорщика, о котором мы уже говорили; последний в надежде на чудовищную расправу только что выдал властям всех участников заговора, и это предательство вдохновило молодую женщину. “Мне нравится твоя кровожадность, — говорит она ему. — Поклянись мне, что однажды я стану твоей жертвой; с пятнадцати

лет мой мозг воспламенен одной только мыслью о том, чтобы пасть жертвой жестоких страстей либертена. Я, конечно же, не хочу умереть завтра; так далеко мои причуды не заходят; но умереть я хочу именно таким образом: стать, умирая, причиной преступления — вот идея, от которой голова у меня идет кругом”. Странная голова, вполне достойная последовавшего ответа: “Я до безумия влюблен в твою голову, и я верю, что мы с тобой вместе совершим много важных дел”. — “Она, признаться, гниет, смердит!”

Итак, все начинает проясняться: для целостного человека, каковой есть человек во всей его полноте, не существует невозможного зла. Если он причиняет зло другим, какое сладострастие! Если другие причиняют зло ему, какое наслаждение! Добродетель доставляет ему удовольствие, поскольку она слаба и он ее крушит, ну а порок — поскольку он получает удовольствие от расстройства, из него истекающего, пусть даже за его же счет. Если он живет, в его жизни нет такого события, которое он не мог бы воспринять в качестве счастливого. Если он умирает, он находит в своей смерти еще большее счастье, а в сознании собственного разрушения — увенчание жизни, оправданием которой служит единственно потребность в разрушении. Он, стало быть, недоступен для других. Никто не может нанести ему ущерб, ничто не отчуждает его власть быть собой и собой наслаждаться. Таков первый смысл его одиночества. Даже если с виду он в свою очередь становится жертвой и рабом, неистовство страстей, которые он умеет удовлетворять при любых обстоятельствах, заверяет его в собственной суверенности, заставляет его почувствовать, что при всех обстоятельствах, в жизни, как и в смерти, он остается всемогущим. Потому-то, несмотря на сходство в описаниях, кажется справедливым оставить за Захер-Мазохом<sup>4</sup> авторство мазохизма, а за Са-дом — садизма. У героев Сада удовольствие от унижения никогда не подрывает их господства, и низость воз-

носит их на самый верх; так называемые чувства стыда, угрызения совести, вкус к наказанию, остаются для них чем-то посторонним. У Сен-Фона, который заявляет ей: “Моя гордыня такова, что я хотел бы, чтобы мне прислуживали на коленях, говорить же со всеми этими презренными подонками, которых называют народом, я хотел бы только через посредника”, — Жюльетта (безо всякой иронии) спрашивает: “Но не низводят ли вас капризы либертинажа с этих высот?” — “Для голов, устроенных наподобие наших, — отвечает Сен-Фон, — подобное унижение утонченно служит нашей гордыне”. И Сад вдобавок замечает: “Это легко понять; делаешь то, чего никто не делает, и тем самым оказываешься единственным в своем роде”. В плане моральном, той же горделивой удовлетворенностью сопровождается и чувство изгнанности за пределы человечества: “Нужно, чтобы мир содрогнулся, узнав о преступлении, которое мы совершим. Нужно заставить людей краснеть за то, что они принадлежат к тому же роду, что и мы; я требую, чтобы был воздвигнут монумент, удостоверяющий это преступление перед всей вселенной, и чтобы имена наши были запечатлены на нем нашими собственными руками”. Быть Единственным, единственным в своем роде — вот где знак суверенности, и мы увидим, до какого абсолютного смысла довел Сад эту категорию.

Все начинает проясняться; но как раз в достигнутой нами точке мы чувствуем также, что все начинает быть непроницаемым. То движение, посредством которого Единственный ускользает от тисков другого, далеко от прозрачности. В некоторых отношениях это своего рода стоическая нечувствительность, которая, кажется, предполагает полную автономию человека по отношению к миру. Но в то же время это и нечто совершенно противоположное, ибо независимо от других, которые никогда не могут ему повредить, Единственный тут же утверждает отношение абсолютного господства над другими, и не потому, что они ничего не могут ему сделать,

не потому, что кинжал, пытка, насильственные действия оставляют его невредимым, но потому, что он может сделать другому все, что даже боль, причиняемая ему другими, доставляет ему удовольствие власти и помогает реализовать свою суверенность. И вот эта ситуация оказывается очень затруднительной. С того момента, как “быть хозяином самого себя” означает “быть хозяином других”, с того момента, как моя независимость происходит уже не из моей самостоятельности, но из зависимости других в отношении меня, становится видно, что я остаюсь связанным с другими и нуждаюсь в других, — пусть для того, чтобы обратить их в ничто. Подобное затруднение часто возникало по отношению к Саду. Нет уверенности, что сам Сад был к нему чувствителен, и одна из оригинальных черт его “исключительной” мысли, может быть, и происходит из того, что когда ты не Сад, возникает решающая проблема, из-за которой между хозяином и рабом вновь возникают отношения взаимной солидарности; но когда ты зовешься Са-дом, нет никаких проблем, нет даже возможности углядеть здесь какую-либо проблему.

Мы не можем подробно обсудить все столь многочисленные тексты (у Сада все всегда наличествует в бесконечном количестве), соотносящиеся с данной ситуацией. По правде говоря, противоречия здесь в изобилии. Иной раз кровожадность либертена предстает как бы одержимой противоречивостью его удовольствий. У либертена нет большей радости, чем уничтожить свои жертвы, но эта радость разрушает сама себя, она разрушается, уничтожая то, что ее вызвало. “Удовольствие от убийства женщины, — говорит один, — тут же проходит; она уже ничего не испытывает, когда мертва; услада причиняемых ей страданий исчезает вместе с нею... Заклеймим ее (каленным железом), опозорим ее; от этого унижения она будет страдать до последнего мига своей жизни, и наше бесконечно растянутое сладострастие станет от этого более изысканным”. Так же и Сен-Фон,

недовольный слишком простыми пытками, хотел бы для каждого существа чего-то вроде бесконечной смерти; вот почему ему начинает грезиться, что при помощи неоспоримо изобретательной системы он присваивает себе Ад и устраивает все таким образом, чтобы располагать уже в этом мире (что касается выбранных им существ) неисчерпаемыми ресурсами адских пыток. Здесь, конечно, распознаешь, какие запутанные отношения между угнетаемым и угнетающим порождает угнетение. Садовский человек извлекает свое существование из причиняемой им смерти, и иногда, желая вечной жизни, он грезит о смерти, которую мог бы причинять вечно, так что палач и жертва, навеки обращенные лицом друг к другу, видели бы себя в равной степени наделенными одной и той же властью, тем же божественным атрибутом вечности. Невозможно оспаривать, что подобное противоречие составляет часть [системы] Сада. Но чаще он заходит еще дальше — пользуясь рассуждениями, которые гораздо глубже прольют для нас свет на его мир. Клервиль упрекает Сен-Фона в “непростительных причудах” и, чтобы наставить его на путь истинный, дает ему следующий совет: “Замени сладострастную идею, которая распаляет твой мозг, — идею до бесконечности длить пытки и мучения существа, обреченного на смерть, — подмени ее щедрым изобилием убийств; не убивай дольше все того же, это невозможно, но убей множество других, это вполне по силам”. Увеличение количества и в самом деле является намного более правильным решением. Рассмотрение живых существ с точки зрения количества убивает их полнее, чем уничтожающее их физическое насилие. Преступник, быть может, нерасторжимым образом соединяется с тем, кого он убивает. Либертен же, который, изничтожая свою жертву, испытывает лишь потребность в жертвоприношении тысяч других, оказывается странным образом свободным от всякого сопологания с нею. В его глазах она как таковая не существует, она есть не отдельное существо, но

простой, бесконечно заменимый элемент в безмерном эротическом уравнении. Прочитав высказывание вроде нижеследующего: “Ничто не вдохновляет, ничто не кружит так голову, как большое число”, лучше понимаешь, почему идея равенства приходит на помощь во многих садовских рассуждениях. Все люди равны; это означает, что ни одна тварь не ценится выше другой, все взаимозаменяемы, у каждой нет ничего, кроме значения единицы в бесконечном перечне. Перед Единственным все существа равны в ничтожности, и Единственный, уничтожая их, лишь проявляет это ничто.

Это и делает мир Сада столь странным. Сцены кровожадности следуют одна за другой. Повторения бесконечны, неправдоподобны. Часто за один сеанс каждый либертен успевает замучить, вырезать четыреста-пятьсот жертв; на завтра он начинает заново; затем, вечером, новая церемония, слегка меняется распорядок, опять царит возбуждение, и гекатомба следует за гекатомбой. Но как! Кто же не понимает, что в этих грандиозных боях умирающие не имеют уже ни малейшей реальности и исчезают они с такой смехотворной легкостью по причине того, что были заранее уничтожены актом тотального и абсолютного разрушения, что они находятся здесь и здесь умирают лишь для того, чтобы засвидетельствовать некую разновидность первоначального катаклизма, разрушения, которое касается не только их, но и всех остальных? Поразительно: мир, в который вступает Единственный, оказывается пустыней; встречаемые им здесь существа — менее, чем вещи, менее, чем тени, и, мучая их, их уничтожая, он овладевает не их жизнями, он лишь удостоверяет их ничтожество, он становится хозяином их несуществования и извлекает из него свое самое большое наслаждение. Что говорит в самом начале “120 дней Содома” герцог де Бланжи женщинам, собранным для ублажения четырех либертенов? “Взвесьте свое положение, что вы такое, кто такие мы, и пусть эти размышления вызовут у вас дрожь. Вы здесь

вне пределов Франции, посреди дремучего леса, за цепью крутых гор, проходы через которые были разрушены сразу же, как только вы через них прошли, вы заточены в неприступной цитадели, никто на свете не знает, что вы здесь, вы отторгнуты от своих друзей, своих родственников, для мира вы уже мертвы”. Это следует понимать буквально: они уже мертвы, упразднены, заключены в абсолютную пустоту некой Бастилии, куда вход существованию заказан и где их жизнь служит лишь для того, чтобы сделать осязаемым тот аспект “уже мертвого”, с которым она совпадает.

Оставим в стороне истории с некрофилией, какие — хотя у Сада они довольно многочисленны, — кажутся достаточно далекими от “нормальных” возможностей его героев. Следует, впрочем, заметить, что когда оные восклицают: “ах, какой прекрасный труп!” и воспламеняются от бесчувственности покойницы, начинали они по большей части с ее убийства, и действие именно этой агрессии они и изощряются продолжить за пределы смерти. Неоспоримо, что мир Сада характеризуется не склонностью к единению и отождествлению с обездвиженным и окаменевшим существованием трупа и не стремлением соскользнуть в пассивность формы, представляющей отсутствие формы, вполне реальной реальности, избавленной от изменчивости жизни и, тем не менее, в высшей степени воплощающей ирреальность. Совсем наоборот, центр садовского мира — это потребность в господстве, утверждающаяся безграничным отрицанием. Это отрицание, которое свершается в масштабе больших чисел; никакой частный случай его удовлетворить не может; по сути, ему суждено превзойти уровень человеческого существования. Тщетно пытается садовский человек навязать другим свою волю посредством имеющейся у него власти их уничтожить: если он кажется от них не зависящим (даже с учетом того, что ему необходимо их уничтожить), если всегда кажется, что он может обойтись без них, то дело здесь в том,

что он поместил себя в плоскость, уже с ними несоизмеримую, и обосновался он на этой плоскости раз и навсегда, выбрав в качестве горизонта для своего разрушительного замысла нечто бесконечно превосходящее людей и крохи их существования. Иными словами, если садовский человек кажется удивительно свободным по отношению к своим жертвам, от которых ведь зависят его удовольствия, то объясняется это тем, что в удовольствиях этих насилие целит в нечто иное, от них отличное, выходит далеко за их пределы и только и делает, что проверяет — лихорадочно, до бесконечности, в каждом конкретном случае — общий акт разрушения, посредством которого Бог и мир были низведены в ничто.

По всей очевидности, дух преступления связан у Сада с безмерной грезой отрицания, которую ничтожные практические возможности не перестают позорить и бесчестить. Самое прекрасное преступление на этом свете — столь убого, что заставляет либертена краснеть. Среди них нет никого, кто бы, как монах Иероним, не испытывал чувство стыда перед заурядностью своих злодеяний и не стремился к преступлению, превосходящему все, что только мог бы совершить человек в этом мире. “К несчастью, — говорит он, — я его не нахожу; все, что мы совершаем, — лишь отражение того, что мы должны были бы суметь совершить”. “Мне бы хотелось, — говорит Клервиль, — отыскать преступление, которое оказывало бы постоянное действие, даже когда я уже бездействую, так, чтобы в каждое мгновение своей жизни, даже во сне, я была причиной какого-то расстройства, и чтобы расстройство это могло распространиться до такой степени, когда оно сможет повлечь общую порчу или же столь бесповоротный беспорядок, что его воздействие будет еще продолжаться даже и за пределами моей жизни”. На что Жюльетта дает следующий ответ, который должен быть весьма по нраву автору “Новой Жюстины”: “Попробуй преступление против нравственности, одно из тех, которые совершаются че-

рез письмо”. Если Сад, который в своей системе как только мог сократил долю интеллектуального сладострастия, который почти полностью ликвидировал эротизм воображения (поскольку его собственная эротическая греза состоит в том, чтобы проецировать на не грезящих, но реально действующих персонажей ирреальное движение своих наслаждений: эротизм Сада — это эротизм грезы, поскольку по большей части он реализуется лишь в вымысле; но чем более этот эротизм дремлет, тем более он требует вымысла, из которого греза была бы изгнана, в котором оргия была бы реализована и пережита), если Сад, тем не менее, в виде исключения возбудил воображаемое, то объясняется это тем, это он на редкость хорошо знает, что основой множества далеких от совершенства преступлений является некое невозможное преступление, дать о котором отчет способно только воображение. Вот почему он вкладывает в уста Бельмора следующие слова: “О, Жюльетта, до чего сладостны удовольствия, доставляемые воображением. В эти упоительные моменты нам принадлежит вся земля, ни одно существо нам не противится, ты опустошаешь мир, населяешь его новыми объектами и вновь их уничтожаешь; у нас есть средства для всех преступлений, мы пользуемся ими всеми, мы утысячаем ужасы”.

В своем сборнике эссе, выражающих самые глубокие соображения не только о Саде, но и о всех тех проблемах, на которые может бросить свет само существование Сада, Пьер Клоссовски<sup>5</sup> проясняет чрезвычайно сложный характер отношений, поддерживаемых садовским сознанием с Богом и со своим ближним. Он показывает, что эти отношения негативны, но что поскольку отрицание это реально, оно вновь вводит устраняемые им понятия: понятие Бога и понятие ближнего своего, говорит он, необходимы для сознания либертена. Об этом можно спорить до бесконечности, ибо творчество Сада являет собой хаос ясных и отчетливых идей, в котором все ска-

зано, но также и все утаено. Между тем, как нам кажется, оригинальность Сада заключается в его предельно сильном притязании обосновать суверенность человека трансцендентной властью отрицания, властью, которая ни в чем не зависит от уничтожаемых ею объектов, которая, чтобы их уничтожить, не предполагает даже их предшествующего существования, поскольку в тот момент, когда она их уничтожает, она их всегда уже — заранее — ни во что не ставит. И эта диалектика находит одновременно и лучший пример, и, быть может, свое оправдание в том способе, которым садовский Всемогущий утверждает себя по отношению к божественному всемогуществу.

В своем предисловии к “Диалогу между священником и умирающим” Морис Эне подчеркнул исключительную незыблемость атеизма Сада. Но, как совершенно справедливо напомнил Пьер Клоссовски, атеизм этот лишен хладнокровия. Как только по ходу самого спокойного развертывания текста появляется имя Бога, язык тут же начинает обжигать, тон повышается, волна ненависти подхватывает слова, корежит их. Отнюдь не в сценах сладострастия обнаруживает [максимальную] страстность Сад, но и неистовство, и презрение, и горделивый пыл, и головокружение от власти, и желания немедленно просыпаются всякий раз, когда Единственный замечает на своем пути какие-либо признаки бывшего присутствия Бога. Идея Бога — это некоторым образом неискупимая ошибка человека, его первородный грех, доказательство его ничтожества, то, что оправдывает и позволяет преступление, ибо против существа, которое согласилось аннулировать себя перед Богом, просто невозможно прибегнуть к средствам уничтожения, слишком сильным для него. Сад пишет: “Идея Бога — это единственная вина, которую я не могу простить человеку”. Решающие слова, один из ключей к его системе. Вера во всемогущего Бога, который оставляет на долю человека лишь реальность соломинки, атома небытия,

возлагает на целостного человека обязанность подхватить эту сверхчеловеческую власть, самостоятельно реализовав — во имя человека и над людьми — суверенное право, которое те признали за Богом. Преступник, когда он убивает, есть Бог на земле, потому что он реализует между собой и своей жертвой отношение подчинения, в котором последняя видит определение божественного самовластия. Как только истинный либертен распознает, пусть даже в самом бесстыдном развратнике, малейшие следы религиозной веры, он тут же выносит ему смертный приговор: дело в том, что этот дурной развратник разрушает сам себя, отрекаясь в руке Божией; дело в том, что он себя ни во что не ставит, так что его убийца всего-навсего приводит в порядок ситуацию, которую ее внешняя канва делает несколько непрозрачной.

Садовский человек отрицает людей, и это отрицание совершается посредством понятия Бога. Он на время превращает себя в Бога, чтобы люди перед ним исчезли и увидели, каково быть ничем перед Богом. “Вы не любите людей, не так ли, принц?” — спрашивает Жюльетта. — “Они мне ненавистны. Не бывает момента, чтобы я не вынашивал против них самых коварных планов. В самом деле, нет более ужасной расы... Какая низость, какая ничтожность, какая мерзость!” — “Но вы, — прерывает Жюльетта, — вы и в самом деле думаете, что вы тоже из людей? О нет, нет, когда властвуешь над ними с такой энергией, невозможно быть из их породы”. — “Она права, — говорит Сен-Фон, — да, мы — боги”.

Тем временем движение диалектики не прекращается: человек Сада, который принял на себя осуществление власти над людьми, в безумии уступившими ее Богу, ни на мгновение не забывает, что эта власть целиком негативна: быть Богом может иметь только один смысл — сокрушить людей, уничтожить тварное. “Я хотел бы быть ящиком Пандоры, — заявляет тот же Сен-Фон, — чтобы все беды, покинув мое лоно, уничтожали все существа по отдельности”. И Верней: “Если бы прав-

дой оказалось, что существует Бог, разве не были бы мы тогда с ним соперниками, уничтожая все, что только он ни создал?”. Таким образом и разрабатывается мало-помалу двусмысленная концепция Всемогущего, относительно конечного смысла которой невозможно, однако, сомневаться. Клоссовски часто ссылается на теории того самого Сен-Фона, речения которого мы только что вспоминали; среди всех героев Сада он — исключение, поскольку верит в Высшее Существо; только тот Бог, в которого он верит, не очень добр, но “очень мстителен, очень жесток, очень зол, очень несправедлив, совершенный варвар”; это существо высшее — по злобе, Бог зло-вредности. Сад извлек из этой идеи всевозможные блестящие продолжения. Он воображает Страшный Суд, который описывает средствами свойственного ему кровавого юмора. Здесь можно услышать, как Бог помышляет хорошими [людьми] в следующих выражениях: “Когда вы увидели, что на земле все порочно и преступно, почему забрели вы на стезю добродетели? Разве не должны были постоянные несчастья, которыми я усеял вселенную, убедить вас, что мне нравился лишь беспорядок и что нужно было меня раздражать, чтобы мне понравиться? Не представлял ли я вам каждый день примера разрушения — почему же не разрушали вы? Безмозглый! Почему ты не делал как я!”.

Но после этого напоминания сразу становится ясно, что концепция inferнального Бога является лишь промежуточным пунктом диалектического процесса, посредством которого садовский сверхчеловек, после того как он под именем Бога отверг человека, отправляется навстречу Богу и, в свою очередь, отвергает его во имя природы, чтобы, наконец, отвергнуть и природу, отождествив ее с духом отрицания. На злом Боге отрицание, которое только что истребило понятие человека, задерживается, так сказать, на несколько мгновений, прежде чем взяться за себя самого в качестве своего объекта. Сен-Фон, становясь Богом, обязывает тем самым Бога

стать Сен-Фоном, и высшее существо, в руках которого слабый уже отрекся от власти, чтобы подтолкнуть к отречению сильного, отныне утверждает только как гигантское принуждение, железная трансцендентность, которая крушит каждого пропорционально его слабости. Такова гипостазированная человеческая ненависть, доведенная до самой высокой степени. Но, едва достигнув абсолютного существования, дух отрицания, осознав свою собственную бесконечность, может лишь обратиться против утверждения этого самого абсолютного существования, единственного объекта, который теперь соразмерен ставшему бесконечным отрицанию. В Бога воплотилась человеческая ненависть. И теперь ненависть Бога освобождает от Бога саму ненависть. Ненависть столь мощную, что она, кажется, в каждый миг предполагает реальность того, что она отрицает, чтобы лучше самоутвердиться и самооправдаться. “Если бы это существование — существование Бога — было истинной, сознаюсь в этом, — говорит Дюбуа, — драгоценнейшей компенсацией за навязанную мне необходимость проявить некоторую веру в него было бы простое удовольствие постоянно раздражать того, кто так воплотился”. Но свидетельствует ли столь пылкая ненависть, как по-видимому считает Клоссовски, о забытой своей вере, обратившейся к богохульству, чтобы вынудить Бога нарушить свое молчание? Нам так не кажется. Все, напротив, указывает, что эта столь могущественная ненависть предпочитает преследовать Бога лишь потому, что нашла в нем привилегированные предлог и пищу. Для Сада Бог явным образом лишь опора для его ненависти. Ненависть его слишком велика, чтобы какой бы то ни было объект играл для нее особую роль; поскольку она бесконечна, поскольку она постоянно выходит за все пределы, ей приходится находить удовольствие в самой себе и приходить в восторг от той бесконечности, которой она дает имя Бога (“Твоя система, — говорит Клервиль Сен-Фону, — берет свой

исток единственно в глубоком твоём отвращении к Богу”). Но одна только ненависть и реальна, и, в конце концов, она поднимается против природы с той же неустрашимостью, что и против несуществующего и ненавистного ей Бога.

В действительности, если религиозные предметы, если имя Бога, если “Богоделы”, каковыми являются священники, возбуждают все самые грозные и необузданные страсти Сада, то происходит это потому, что слова “Бог” и “религия” как нельзя лучше подходят к воплощению почти всех объектов его ненависти. В Боге он ненавидит ничтожество человека, создавшего себе подобного господина, и мысль об этом ничтожестве раздражает и воспаляет его до такой степени, что ему остается только сотрудничать с Богом в наказании этого ничтожества. Далее, он ненавидит в Боге божественное всемогущество, в котором он узнает свою отчужденную собственность, и Бог становится образом его бесконечной ненависти. Наконец, он ненавидит в Боге и божественное убожество, ничтожность и отсутствие существования, каковое, как бы оно ни утверждалось как существование и творение, есть лишь ничто, ибо великое, ибо всецелое — это дух разрушения.

Этот дух разрушения отождествляется в системе Сада с природой. В этой точке его мысль продвигается весьма неуверенно, на ощупь, на самом деле, ей надо было освободиться от модных атеистических философских построений, к которым он не мог не испытывать симпатии и из которых его жаждущий аргументов разум черпал неистощимые ресурсы. Но в той мере, в какой ему удалось превзойти идеологию натурализма, в какой он не был обманут внешними аналогиями, он дает нам доказательства того, что логика его дошла до крайнего предела, не спасав перед непрозрачными формами, лежащими в ее основе. Природа — вот одно из слов, которые он, как и великое множество других писателей той эпохи, употребляет наиболее охотно. Именно во имя приро-

ды и ведет он борьбу против Бога и всего того, что Бог представляет; в частности — против морали. Не будем на этом задерживаться; словоохотливость самого Сада в этом вопросе вызывает головокружение. Природа для него — это прежде всего универсальная жизнь, и на протяжении сотен страниц вся его философия состоит в повторении того, что безнравственные инстинкты хороши, поскольку являются натуральными, природными фактами, и что первая и последняя инстанция — это природа. Иначе говоря, никакой морали, правит факт. Но затем, смущенный равной ценностью, которую, как он видит, приходится приписать инстинктам добродетели и дурным позывам, он пытается установить новую иерархию ценностей, на вершине которой будет преступление. Его главный аргумент сводится к тому, что преступление наиболее созвучно духу природы, потому что оно — движение, другими словами, жизнь; природа, желающая созидать, говорит он, нуждается в разрушительном преступлении. Все это обосновано крайне до тошно, с бесконечными длиннотами и подчас при помощи весьма впечатляющих доказательств. Между тем, из-за того, что он говорит о природе, что он все время обнаруживает прямо перед собой неминуемую и самодостаточную точку отсчета, садовый человек мало-помалу раздражается, и его ненависть вскоре делает природу столь для него непереносимой, что уже она становится мишенью его хулы и отрицаний. “Да, мой друг, да, я ненавижу природу”. У этого бунта есть два глубинных мотива. С одной стороны, ему кажется нестерпимым, что у неслыханно разрушительной власти, которую он представляет, нет другой цели, кроме выдачи природе патента на созидание. С другой стороны, в той мере, в какой он сам составляет часть природы, он чувствует, что она ускользает от его отрицания и что чем больше он ее оскорбляет, тем лучше ей служит, чем окончательнее уничтожает, тем полнее подчиняется ее закону. Отсюда и вопли ненависти, поистине безумный

бунт. “О, ты, слепая и безмозглая сила, когда сотру я с лица земли всех тварей, ее покрывающих, я наверно буду много дальше от моей цели, ибо я служил бы тем самым тебе, бессердечная мать, а я уповаю только на отмщение — за твою глупость или ту злобу, которую ты заставляешь испытывать людей, никогда не давая им средств избежать жутких наклонностей, к которым ты же их побуждаешь”. Здесь содержится выражение первобытного и стихийного чувства: оскорбить природу — это самое глубокое требование человека, потребность эта в нем во сто крат сильнее, чем потребность в богохульстве. “Во всем, что мы делаем, есть только лишь оскорбленные кумиры и обиженные твари, но природа вне этого, а именно ее я и хотел бы суметь оскорбить, я хотел бы поломать ее планы, противодействовать ее прогрессу, остановить круговращение звезд, разрушить плывущие в пространстве сферы, уничтожить все, что ей служит, сохранить то, что вредит, оскорбить ее, одним словом, в ее творениях, но мне никак в этом не преуспеть”. И еще: в этом отрывке Сад смотрит сквозь пальцы на то, что он смешивает природу с ее великими законами, и это позволяет ему мечтать о некоем катаклизме, каковой мог бы их разрушить, но его логика отвергает этот компромисс, и когда в другом месте он воображает механика, изобретающего машину, предназначенную для превращения вселенной в пыль, он вынужден в этом признаться: ни у кого не будет больше заслуг перед природой, чем у этого изобретателя. Сад прекрасно чувствует, что уничтожить все вещи не означает уничтожить мир, поскольку мир — это не только всеобщее утверждение, но и всеобщее разрушение, так что совокупность бытия и совокупность ничто представляют его в равной степени. Вот почему борьба против природы воплощает в истории человека существенно более диалектически продвинутый этап, нежели богоборчество. Избегая модернизации его мысли, можно сказать, что Сад одним из первых распознал в идее мира все

те же черты трансцендентности, поскольку, так как идея ничто составляет часть мира, ничто, небытие мира можно помыслить лишь внутри некоего “всего”, какое опять оказывается миром.

Если преступление является духом природы, нет преступления против природы, и, следовательно, нет возможности преступления. Сад утверждает это то с величайшим удовлетворением, то с живейшей яростью. Дело в том, что отрицание возможности преступления позволяет ему отрицать мораль, Бога и все человеческие ценности, но отрицать преступление значит также отказаться от духа отрицания, принять, что дух этот может подавить сам себя. Вот вывод, против которого он энергично восстает, и который постепенно приводит его к тому, чтобы отказать природе в какой-либо реальности. В последних томах “Новой Жюстины” (в частности в VIII и IX томах) Жюльетта отвергает все свои предшествующие концепции и публично кается в следующих выражениях: “В те времена, когда мы еще не расставались, я была столь глупа, что стояла еще за природу; отдалили меня от нее новые системы, усвоенные мною с тех пор...”. Природа, говорит она, имеет не больше истины, реальности или смысла, чем сам Бог: “А! потаскуха, ты, быть может, обманываешь меня, как была я когда-то обманута подлой химерой божественности, которой, как говорили, ты подчинена; мы не зависим больше ни от тебя, ни от нее; причины, быть может, бесполезны для следствий...”. Так исчезает природа, хотя философ и потворствовал ей, как мог, и ему было чрезвычайно приятно сделать из универсальной жизни потрясающую машину смерти. Но его цель — не просто ничто. То, к чему он стремится, это суверенность, претворенная и доведенная духом отрицания до предельной точки. Чтобы испытать это отрицание, он по очереди пользуется людьми, Богом, природой. Человек, Бог, природа, каждое из этих понятий в момент столкновения с отрицанием приобретает, кажется, некоторую ценность, но если

взять опыт во всей его совокупности, моменты эти не имеют уже ни малейшей реальности, ибо сущность опыта состоит как раз в том, чтобы их разрушить и свести на нет один за другим. Что такое люди, если они ничто перед Богом? Что такое Бог в присутствии природы? Что такое природа, принужденная развешаться перед человеком, который носит в себе потребность ее оскорбить? И так замыкается круг. Отправившись от людей, мы вернулись к человеку. Вот только он носит теперь новое имя: он зовется Единственным, единственным в своем роде человеком.

Сад, обнаружив, что отрицание в человеке является силой, решил основать будущее человека на отрицании, доведенном до предела. Чтобы достичь этого, он измыслил, позаимствовав из словаря своего времени, некий принцип, который при всей своей двусмысленности представляет собой очень изобретательный ход. Этот принцип — энергия. Энергия и в самом деле очень двусмысленное понятие. Она одновременно и запас сил, и их трата, утверждение, совершаемое лишь путем отрицания, могущество, которое является и разрушением. Поразительно, что в этой бурлящей и страстной вселенной Сад, отнюдь не выставляя на передний план желание, подчинил его и осудил как подозрительное. Дело тут в том, что желание отрицает одиночество и ведет к опасному признанию за другим его мира. Но когда Сен-Фон провозглашает: “Мои страсти, сосредоточенные в единственной точке, напоминают лучи звезд, собранные зажигательным стеклом; они тут же сжигают объект, находящийся в фокусе”, ясно видно, как разрушение может служить синонимом могущества и власти без того, чтобы разрушаемый объект извлекал из этой операции малейшую ценность [для себя]. Другое преимущество этого принципа: он предписывает человеку будущее, не навязывая ему признания какого-либо идеального понятия. В этом одна из заслуг Сада. Он вроде бы резко приземлил мораль Добра, но, несмотря на не-

которые провокационные утверждения, он тщательно позаботился о том, чтобы не заменить ее Евангелием Зла. Когда он пишет: “Все хорошо при условии, что оно чрезмерно”, можно поставить ему в вину неопределенность его принципа, но нельзя упрекнуть его в намерении основать суверенность человека на суверенности понятия, которое было бы выше него. Никакое поведение не оказывается, исходя из этого, привилегированным: можно выбрать и делать все, что угодно, важно лишь, чтобы, совершая это, можно было заставить совпасть друг с другом величайшее разрушение и величайшее утверждение. На практике, в романах Сада все именно так и происходит. Несчастливыми или счастливыми людей делает не соотношение в них добродетели и порока, но та энергия, которую они [в себе] обнаруживают; ибо, как он пишет, “счастье зависит от энергии принципов, никогда не обладать им тому, кто беспрестанно плывет по течению”. Жюльетта, которой Сен-Фон предлагает план, чтобы опустошить голодом две трети Франции, колеблется и теряется; немедленно она оказывается под угрозой. Почему? Дело в том, что она обнаружила слабость, тонус ее души понизился и большая энергия Сен-Фона уже готовится обратить ее в свою жертву. Еще яснее это в случае все той же Дюран. Дюран — отравительница, не способная ни на какую добродетель; испорченность ее доведена уже до предела. Но однажды правители Венеции требуют от нее вызвать эпидемию чумы. Этот проект ее пугает — не по причине его безнравственного характера, а потому, что она страшится той опасности, которой сама могла бы при этом подвергнуться. И она уже осуждена. Энергия изменила ей, она нашла себе господина, и этот господин — смерть. В опасной жизни, говорит Сад, важно никогда не “испытывать недостатка в силе, необходимой для преодоления последних границ”. Можно сказать, что этот странный мир составлен не из индивидуумов, но из систем сил, из того более, то менее повышенного напряжения. Там, где

напряжению случается понизиться, катастрофа становится неизбежной. Кроме того, незачем проводить различие между энергией природной и энергией человеческой: сладострастие — разновидность молнии, так же как молния — похоть природы; слабый окажется жертвой и того, и другого, сильный же выйдет отсюда триумфатором. Жюстина сражена, Жюльетта — нет, никакой провиденциальной комбинации нет в подобной развязке. Слабость Жюстины как бы притягивает молнии, которые отбрасывает на нее энергия Жюльетты. Так же и все, что только не случается с Жюстиной, делает ее несчастной, поскольку все, что на нее действует, ее ослабляет; о ней нам сказано, что ее склонности были добродетельны, но низки, и это нужно понимать буквально. Напротив, все, что задевает Жюльетту, раскрывает ей свою силу, чем она и наслаждается как увеличением собственной силы. Вот почему, умри она — смерть, дав ей испытать полное разрушение как полную утрату ее безбрежной энергии, привела бы ее к пределу власти, силы и экзальтации.

Сад в полной мере осознал, что суверенность энергичного человека в том виде, как он ее завоевывает, отождествляясь с духом отрицания, есть состояние парадоксальное. Целостный человек, утверждающийся целиком, целиком также и разрушен. Это человек, подверженный всем страстям, и он бесчувствен. Он начал с уничтожения самого себя, сначала как человека, потом как Бога, потом как природы, и тем самым он становится Единственным. Теперь он может все, поскольку отрицание в нем уже со всем справилось. Чтобы дать себе отчет в его формировании, Сад прибегает к весьма связной концепции, которой он дает классическое название: апатия. Апатия — это дух отрицания, приложенный к человеку, который выбрал для себя быть суверенным. Это, некоторым образом, причина, или принцип, энергии. Сад, кажется, рассуждает почти что следующим образом: современный индивид являет собой некоторое

количество силы; большую часть времени он свои силы растрчивает, отчуждая их в интересах тех подобий, призраков, каковые называются другими, Богом, идеалом; через это разбазаривание он напрасно исчерпывает свои возможности, их проматывая, но еще больше он не прав в том, что основывает свое поведение на слабости, поскольку растрчивает себя ради других потому, что считает необходимым на других опереться. Роковая непоследовательность: он ослабляет себя, тщетно растрчивая свои силы, и он тратит силы, потому что считает себя слабым. Но истинный человек знает, что он одинок, и он согласен на это; все то в себе, что — будучи наследием семнадцати веков малодушия — соотносится с другими, он отвергает; например, жалость, благодарность, любовь — эти чувства он разрушает. Разрушая их, он восстанавливает всю силу, которую ему понадобилось посвятить этим своим расслабляющим импульсам и, что еще важнее, из этой работы по разрушению он извлекает начало истинной энергии.

На самом деле нужно четко понимать, что апатия состоит не только в сведении на нет “паразитарных” чувств, но также и в противостоянии спонтанности произвольной страсти. Порочный человек, непосредственно предающийся своему пороку, — всего лишь недоносок, который долго не протянет. Даже гениальные развратники, одаренные всеми задатками, чтобы стать подлинными чудовищами, если они ограничатся тем, что будут всего лишь следовать своим наклонностям, обречены на катастрофу. Сад требует: чтобы страсть стала энергией, нужно, чтобы она сконцентрировалась, чтобы она опосредовалась, проходя через необходимый момент нечувствительности; тогда она станет максимальной. В первое время своей карьеры Жюльетта постоянно слышит упреки Клервиль: она совершает преступления только в состоянии воодушевления, она зажигает факел преступления от факела страстей, она превыше всего ставит сладострастие, бьющее через край удовольствие. Опас-

ное попустительство... Преступление важнее сладострастия; хладнокровное преступление выше преступления, совершенного в пылком порыве чувств; но выше всего преступление, "совершенное при полном очерствении чувствительности, преступление мрачное и сокрытое, ибо оно является актом души, которая, все в себе разрушив, накопила бескрайнюю силу, слившуюся с подготовляемым ею движением всеобщего разрушения. Все великие либертены, живущие ради наслаждения, велики лишь потому, что они уничтожили в себе всякую способность наслаждаться. Вот почему они переходят к невероятным извращениям, иначе им хватило бы и посредственности обычного сладострастия. Но они сделались нечувствительными: они утверждают, что наслаждаются своей нечувствительностью, своей отринутой чувственностью, и они становятся кровожадными. Жестокость — это всего лишь самоотрицание, зашедшее столь далеко, что превращается в разрушительный взрыв; нечувствительность, говорит Сад, заставляет содрогнуться все сущее: "душа приходит в состояние апатии, тут же превращающееся в удовольствие во сто крат более божественное, чем удовольствия, которые доставила бы им слабость".

Понятно, что в этом мире важную роль играют принципы. Либертен "задумчив, самоуглублен, не способен взволноваться по какому бы то ни было поводу". Он одинок, не выносит ни шума, ни смеха; ничто не должно его отвлекать; "апатия, беспечность, стоицизм, внутреннее одиночество, вот тот лад, на который ему необходимо настроить свою душу". Подобное преобразование, подобная саморазрушительная работа и не может совершиться без предельных трудностей. "Жюльетта" — это своего рода *Bildungsroman*<sup>6</sup>, учебник, по которому мы учимся распознавать медленное формирование энергичной души. Внешне Жюльетта с самого начала совершенно развращена. Но на самом деле она пока обладает лишь некоторыми наклонностями, а рассудок ее совсем

не затронут развратом; ей еще предстоит приложить огромные усилия, ибо, как говорит Бальзак, *n'est pas détruit qui veut*.<sup>7</sup> Сад отмечает, что в работе апатии выдаются чрезвычайно опасные моменты. Случается, например, что нечувствительность ввергает развратника в такое упадническое состояние [духа], что в этот миг он вполне может вернуться к морали: он думает, что закален, — а он сама слабость, готовая добыча для угрызений совести. Единственного порыва добродетели, переоценивающего вселенную человека и Бога, достаточно, чтобы свести на нет все его могущество; как бы высоко он не вознесся, он падет, и обычно это падение оказывается для него смертельным. Взамен, если в этом упадническом состоянии, когда он испытывает по отношению к наихудшим излишествам лишь пресыщенное отвращение, он отыщет последнюю возможность увеличить свою нечувствительность, изобретая новые излишества, которые отвратительны ему еще более, тогда он перейдет от убожества ко всемогуществу, от ожесточения к беспредельному волнению и, "потрясенный до основания", будет безраздельно наслаждаться собою, выходя за пределы любых границ.

Одной из наиболее удивительных особенностей творчества и судьбы Сада является то, что, хотя для скандала и не придумать лучшего чем он символа, все скандально дерзкое, что есть в его мысли, так долго оставалось нам неизвестным. Нет надобности перечислять открытые им темы, для утверждения которых самым отважным умам следующих веков потребовалась вся их дерзновенность: походя мы их коснулись, при этом ограничившись все же только прослеживанием движения его мысли и рассматривая лишь ее узловые точки. Мы могли бы точно так же изложить его концепцию сновидений, в которых он видел работу духа, вновь обратившегося к истинам и ускользающего от дневной морали, — или все те размышления, в которых он предвосхищает Фрейда, например, следующее: "Уже в лоне матери формируются

органы, которые должны сделать нас восприимчивыми к той или иной фантазии; первые встреченные предметы, первые услышанные речи довершают предопределение побуждений; образование тут ни при чем, оно уже ничего не изменит". Присутствует в Саде и чисто традиционный моралист, и было бы легко составить подборку максимум, рядом с которыми классические образчики Ларошфуко показались бы слабыми и расплывчатыми. Его упрекают в том, что он плохо пишет, и он, в самом деле, часто пишет на скорую руку, а его многословие выводит из терпения; но он в то же время способен и на странный юмор, его стиль выражает некую ледяную жизнерадостность, что-то вроде холодной невинности в излишествах, которую можно предпочесть всей иронии Вольтера и которая не обнаруживается ни у одного другого французского писателя. Все эти достоинства совершенно исключительны, но они были напрасны: вплоть до времени, когда Аполлинер, Морис Эне и Андре Бретон с его даром провидца скрытых сил истории открыли нам пути к нему, и даже после, до самых последних исследований Жоржа Батая, Жана Полана и Пьера Клоссовски, Сад, мастер великих тем современной мысли и современной чувственности, продолжал блистать своим отсутствием. Почему? Да потому, что мысль эта есть творение безумия и формой, в которую она отлилась, служит развращенностью, испорченностью, от которой все шарахаются. Более того, она предстает как теория этой склонности, является ее калькой; она намерена перевести в план законченного мировоззрения самые отталкивающие отклонения от нормы. Впервые философия излагается при свете дня как продукт болезни\*, Сад беззастенчиво утверждает в качестве логической и универсальной системы мысли, единственным обеспечением которой служит предпочтение отклоняющегося от нормы индивида.

\* Сад признает это безо всякого стеснения: "Человек, наделенный особыми вкусами, болен".

И в этом тоже одна из сильных сторон Сада. Можно сказать, что ему удалось проанализировать самого себя посредством написания текста, в котором он фиксирует все, что неотвязно его преследовало, стараясь понять, о какой связности и о какой логике свидетельствуют эти продиктованные одержимостью записи. Но, с другой стороны, он первым доказал — и доказал с гордостью, — что из некоторой личной и даже уродливой манеры поведения можно с полным основанием извлечь мировоззрение — достаточно значимое, чтобы великим умам, озабоченным только поисками смысла человеческого существования, ничего не оставалось делать, кроме как подтвердить основные его перспективы и настоять на его законности. Сад имел смелость утверждать, что, отважно принимая собственные вкусы за отправную точку и принцип всего разума, он дал философии самый прочный фундамент, какой только можно найти, и оказался в состоянии глубоко интерпретировать человеческую судьбу во всей ее полноте. Подобная претензия, без сомнения, уже не способна нас напугать, однако, сознаемся, мы только начинаем принимать ее всерьез, и на протяжении долгого времени ее одной было достаточно, чтобы отпугнуть от садовской мысли даже тех, кто Садам интересовался.

Чем же он прежде всего был? Чудовищным исключением, находящимся вне человечества. "Особенность Сада, — говорил Нодье, — в том, что он совершил проступок столь чудовищный, что его нельзя охарактеризовать, не подвергаясь опасности". (Что по сути дела и было в действительности одним из устремлений Сада: быть невиновным в силу виновности; навсегда разрушить своими излишествами норму, закон, который мог бы его осудить). Другой современник, Питу, пишет [о Саде] довольно-таки устрашающие слова: "Правосудие запрятало его в тюремный угол, предоставив любому заключенному право избавиться от этого бремени". Когда в дальнейшем в нем распознали образчик свойст-

венного отдельным людям отклонения от нормы, тут же поспешили заточить его в этом безымянном извращении, которому именно это единственное имя и могло подойти. Даже позже, когда эту аномалию поставили Саду в заслугу, когда в нем увидели человека достаточно свободного, чтобы изобрести новое знание, и уж во всяком случае человека исключительного — как по судьбе, так и по интересам, когда, наконец, увидели в садизме некую возможность, касающуюся всего человечества, по-прежнему продолжали пренебрегать собственной мыслью Сада, словно пребывая в уверенности, что в садизме было больше оригинальности и достоверности, чем в том, как сам Сад мог его интерпретировать. А ведь присмотревшись получше, обнаруживаешь, что мысль эта существенна, и что среди противоречий, между которыми она движется, она предлагает нам более глубокие прозрения в проблему, прославившуюся под именем Сада, нежели все те точки зрения, которые самая испытанная и наиболее авторитетная мысль дозволяла нам воспринять до тех пор. Мы не говорим, что его мысль жизненна. Но она показывает нам, что если выбирать между нормальным человеком, ставящим садовского человека в безвыходное положение, и садистом, обращающим это положение в выход, то именно последний ближе к истине и лучше знает логику своего положения, он обладает глубочайшим ее пониманием, которое может помочь нормальному человеку лучше понять самого себя, помогая ему видоизменить условия всякого понимания.

## Жорж Батай *Сад и обычный человек*<sup>1</sup>

### 1. Наслаждение — это “парадокс”

“Перед нами, — писал Жюль Жанен о произведениях Сада\*, — сплошные окровавленные трупы, дети, вырванные из рук своих матерей, молодые женщины, которых душат в конце оргии, кубки, наполненные кровью и вином, неслыханные пытки. Кипят котлы, с людей сдирают дымящуюся кожу, раздаются крики, ругательства, богохульства, люди вырывают друг у друга из груди сердце — и все это на каждой странице, в каждой строчке, везде. О, какой это неутомимый негодяй! В своей первой книге\*\* он показывает нам бедную девушку, затравленную, потерянную, осыпаемую градом побоев, какие-то чудовища волокут ее из подземелья в подземелье, с кладбища на кладбище, она изнемогает от ударов, она разбита, истерзана до смерти, обесчещена, раздавлена... Когда автор исчерпал все преступления, когда он обессилел от инцестов и гнусностей, когда он, измученный, едва переводит дух на груде трупов заколотых и изнасилованных им людей, когда не осталось ни одной церкви, не оскверненной им, ни одного ребенка, которого он не умертвил бы в приступе ярости, ни одной нравственной мысли, не вымаранной в нечистотах его суждений и слов, этот человек, наконец, останавливает-

\* В журнале “Ревю де Пари”, 1834 г.

\*\* Речь идет о романе “Жюстина”. Жанен располагал третьей версией, наиболее непринужденной (“Новая Жюстина”), опубликованной стараниями автора в 1797 году и переизданной в 1953 году “Либрери Жан-Жак Повер”. Первая редакция, менее обработанная, чем вторая, была написана в Бастилии и называлась “Несчастья добродетели”. Ее опубликовал в 1930 г. Морис Эне в издательстве “Фуркад”. Переиздана в 1946 г. “Эдиссон дю Пуэн дю Жур” с предисловием Жана Полана, а в 1954 г. издательством “Либрери Жан-Жак Повер”.

ся, он глядит на себя, он улыбается себе, но ему не страшно. Напротив...”.

Если эта картина далеко и не исчерпывает предмета, то, по крайней мере, она описывает в подходящих выражениях образ, добровольно присвоенный себе Садам: вряд ли есть чувства, вплоть до омерзения и наивного удивления, которые не возникали бы в ответ на преднамеренную провокацию... О таком подходе можно думать что угодно, однако, мы не пребываем в неведении относительно того, чем являются люди и какой удел уготовила им природа и их собственные пределы. Мы знаем заранее: как правило, люди не способны оценить Сада и его писания иначе. Было бы неправильно приписывать чувство омерзения ограниченности Жюля Жанена или тех, кто разделяет его оценку. Эта ограниченность задана самим порядком вещей; людям вообще свойственны ограниченность, убогость и чувство грозящей им опасности. Образ Сада, конечно же, не может быть с одобрением принят людьми, движимыми нуждой и страхом. Симпатии и страхи (надо добавить — и малодушие), определяющие повседневное поведение людей, диаметрально противоположны страстям, обуславливающим суверенность<sup>2</sup> сладострастных личностей. Но последнее связано с первым, и мы бы допустили ошибку, если бы не увидели в реакциях охваченного тревогой человека, сердечного и малодушного, неизменную потребность, выраженную в пристойной форме: само сладострастие требует наличия страха. В самом деле, чем было бы наслаждение, если бы связанная с ним тревога не обнажала его парадоксальный характер, если бы в глазах того, кто его испытывает, оно не было бы нестерпимым?

Я должен был с самого начала сделать упор на этих истинах, на обоснованности суждений, которыми Сад бравировал. Он противопоставлял себя не столько глупцам и лицемерам, сколько честному человеку, человеку нормальному, в каком-то смысле [он противопоставлял себя] людям, каковыми являемся мы все. Он скорее хо-

тел бросить вызов, чем убедить. И мы не поймем его, если не увидим, что он довел свой вызов до крайнего возможного предела, до такой степени, что истина едва не оказалась опровергнутой. Однако его вызов был бы лишен смысла, не имел бы никакой ценности и последствий, если бы он не был безграничной ложью и если бы представления, на которые он обрушился, не являлись незыблемыми.

Поэтому следует говорить о Саде с точки зрения, противоположной его взгляду, с точки зрения здравого смысла, встав на место Жюля Жанена. В этом предисловии я обращаюсь к человеку, испытывающему страх, к человеку, который, прочтя творения Сада, прежде всего видит в нем возможного убийцу своей дочери.

## 2. Восхваляя Сада, мы притупляем остроту его мысли

Действительно, сам по себе разговор о Саде в любом случае представляется занятием парадоксальным. И не так важно, что мы выполняем труд прозелита, воздавая ему хвалы про себя или вслух: разве парадокс перестает быть парадоксом от того, что мы восхваляем апологета преступления, а не самое преступление? Нелогичность даже усиливается, когда речь идет просто о восхищении Садам: восхищающийся человек взирает свысока на жертву, которую Сад передает нам из мира ужасов, восприимчивого к кругу безумных, ирреальных и внешне блестящих идей.

Некоторые умы воспаляются при мысли о возможности перевернуть — имеется в виду: перевернуть с ног на голову — наиболее устоявшиеся ценности. Поэтому они с беспечностью утверждают, что самый большой ниспровергатель — маркиз де Сад — является также и тем, кто лучше всего послужил человечеству. По их мнению, это абсолютно бесспорно: да, мы вздрагиваем, стоит нам задуматься о смерти или страданиях (даже

если речь идет о смерти и страданиях других людей), да, наше сердце сжимается от трагического или гнусного, но предмет, вызывающий ужас, имеет для нас то же значение, что и солнце, которое не становится менее величественным, когда мы отводим от его сияния наш немощный взгляд.

Сравнимый по крайней мере в этом с солнцем, на которое наши глаза не в силах смотреть, образ Сада, завораживая воображение, заставлял его современников трепетать: разве одного того, что такое чудовище живет на свете, недостаточно, чтобы прийти в негодование? И напротив, современного апологета Сада никогда не принимают всерьез, никто не поверил бы в то, что его мнение может иметь хоть какие-то последствия. Наиболее враждебно настроенные видят в этом бахвальство или дерзкую забаву. В той мере, в какой расточаемые в адрес Сада хвалы на самом деле не отступают от господствующей морали, они даже способствуют укреплению последней, порождая смутное ощущение, что пытаться ее ниспровергнуть — занятие бесполезное, что она прочнее, чем думали до сих пор. Все это не имело бы значения, если бы идеи Сада не теряли при этом своей фундаментальной ценности, заключающейся в их несовместимости с идеями разумного существа.

Бесчисленные произведения Сада посвящены утверждению неприемлемых ценностей: если верить ему, жизнь — это поиск наслаждений, а наслаждения пропорциональны разрушению жизни. Иначе говоря, жизнь достигает наивысшей степени интенсивности в чудовищном отрицании своей же основы.

Кто из нас не видит, что столь странное утверждение не могло бы быть всеми принято, даже всем предложено, не будь оно ослаблено, лишено смысла, сведено к скандальной, но бессмысленной остроте! В самом деле, каждому ясно, что, отнесясь к нему всерьез, общество ни на минуту не смогло бы принять его, не впад в безрассудство. В самом деле, те, кто видел в нем негодяя, в большей

степени отвечали намерениям Сада, чем его современные почитатели: он вызывает возмущенный протест, без которого парадокс наслаждения был бы просто поэзией. Повторюсь, мне хотелось бы говорить о нем, лишь обращаясь к тем, кого он приводит в негодование, и встав на их точку зрения.

### 3. Божественное не менее парадоксально, чем порок

Подверженный страху человек, которого возмущают суждения Сада, тем не менее, не способен столь же легко отделаться от одного основания, обладающего тем же значением, что и начало, лежащее в основе интенсивной разрушительной жизни. Всюду и во все времена божественное начало зачаровывало людей и угнетало их: под божественным, сакральным они понимали своего рода внутреннее воодушевление, потаенное, всепоглощающее исступление, жестокую силу, которая овладевает человеком, пожирает его, как огонь, и неминуемо влечет к гибели... Это воодушевление считалось заразным; передаваясь от одного объекта к другому, оно превращалось в смертоносный миазм: нет опасности более ужасной; а если жертва является объектом культа, имеющего целью принести ее в знак благоговейного почитания, сразу же следует оговориться, что такой культ (каковым является религия) двойствен. Религия прилагает усилия к восхвалению сакрального объекта, к тому, чтобы губительное начало превратить в сущность власти, наделить его особой ценностью, но в то же время она заботится об ограничении его воздействия определенной сферой, отделенной от мира нормальной жизни (или профанного мира) непреодолимой границей.

Этот жестокий и разрушительный аспект божественного обычно проявлялся в ритуалах жертвоприношения. Часто эти ритуалы отличались чрезмерной жестокостью: детей бросали в пасти раскаленных металличе-

ских чудовищ; поджигали ивовые колоссы, набитые человеческими жертвами; священники сдирали с живых женщин кожу и потом облачались в кровотокающую оболочку. Стремление к подобным ужасам обнаруживалось редко; не будучи необходимым для жертвоприношения, оно, однако, подчеркивало его смысл. Ведь и казнь на кресте, пусть неявно, но связывает христианское сознание с чудовищным характером божественного порядка: божественное становится охранительным лишь тогда, когда удовлетворена потребность в истреблении и разрушении, являющаяся его первоосновой.

Здесь нельзя было не сослаться на подобные факты. По сравнению с видениями Сада они обладают одним преимуществом: никто не может отнестись к ним как к приемлемым, но всякое разумное существо вынуждено признать, что каким-то образом они отвечали потребности человечества; даже рассматривая отдаленное прошлое, трудно отрицать универсальный и высший характер этой потребности. Те, кто таким образом служил жестоким божествам, определенно хотели ограничить их разрушительные воздействия; они не относились с презрением ни к этой потребности, ни к упорядоченному миру, который она предписывает.

В том, что касается разрушений, связанных с жертвоприношением, в древности находила свое разрешение двойная сложность, на которую я указал в связи с Садам. Жизнь, полная тревог и страхов, и жизнь интенсивная — сдерживаемая активность и разгул — были, благодаря религиозным поведенческим нормам, строжайшим образом отгорожены друг от друга. Существование профанного мира, чьей основой является полезная деятельность, — без которой не было бы возможно выживание или непроизводительное растрачивание — неукоснительно поддерживалось. Противоположное начало (без какого-либо смягчения и при полном осознании его губительных последствий) признавалось в не меньшей степени в проявлениях чувства ужаса, связанного с при-

сутствием сакрального. Тревога и радость, интенсивность жизни и смерть переплелись в культовых праздниках: страх придавал смысл разгулу, а бесцельная трата<sup>3</sup> оставалась целью полезной деятельности... Но никогда не происходило сближения, ничто не приводило к смешению этих противоположных и неприменимых начал друг с другом.

#### 4. Человек нормальный воспринимает парадокс божественности или порока как отклонение от нормы

Эти соображения религиозного порядка имеют, однако, свои пределы. Верно, что они обращены к человеку нормальному и что высказывать их можно лишь с его точки зрения, но они затрагивают и внешний по отношению к сознанию элемент. Для современного человека сакральный мир — это двойственная реальность: его существование нельзя отрицать, он обладает своей историей, но это — не неустранимая реальность. В основе этого мира лежат нормы человеческого поведения, условия которого, кажется, перестали восприниматься нами как заданные и механизм которого ускользает от нашего сознания. Эти поведенческие нормы хорошо известны, и мы не можем сомневаться в их исторической подлинности, а также в том, что они имели, по-видимому, как я уже сказал, суверенный и всеобщий смысл. Но, конечно, люди, их придерживавшиеся, не осознавали этого смысла, и мы не в состоянии что-либо здесь прояснить из-за отсутствия какой-либо одной верной интерпретации. Лишь ограниченная реальность, которой они соответствовали, могла быть предметом интереса со стороны разумного человека, благодаря суровости природы и своему страху приучившегося жить расчетом. Но если причины [таких явлений] не поддаются сколько-нибудь вразумительному объяснению, может ли человек действительно извлечь урок из религиозных ужасов прошло-

го? Если он не в состоянии отделаться от них столь же легко, как от фантазий Сада, то, значит, их нельзя поставить на один уровень с потребностями, разумно преобладающими в человеческой деятельности, такими, как чувство голода или холода. То, что обозначается словом “священное”, не может быть уподоблено пище или теплу.

Словом, поскольку разумный человек по преимуществу наделен сознанием, надо сказать, что факты религиозного порядка — если они не опираются на утилитарную мораль — воздействуют на его сознание лишь чисто внешним образом: он поневоле допускает их и, если ему приходится наделять их правами, которые они действительно имели в прошлом, то применительно к современности он отказывает им вообще в каком-либо праве, во всяком случае в той мере, в какой они сохраняют способность внушать ужас. Здесь я должен добавить, что в каком-то смысле эротизм Сада в большей степени доступен сознательному постижению, чем древние религиозные предписания: никто не может отрицать сегодня наличия импульсов, связывающих сексуальность с потребностью в причинении боли или совершении убийства. Таким образом, инстинкты, называемые садистскими, дают нормальному человеку способ осмыслить некоторые проявления жестокости, тогда как религия не шла дальше объяснения факта, истинная же его причина оставалась для нее недоступной. Поэтому нам представляется, что, мастерски описав эти инстинкты, Сад внес вклад в постепенное осознание человеком самого себя, иначе говоря, если прибегнуть к философскому языку, способствовал его самосознанию: уже сам термин “садист”, обладающий универсальным значением, — убедительное свидетельство этого вклада. В этом смысле точка зрения, которую я назвал точкой зрения Жюля Жанена, претерпела изменения: это по-прежнему взгляд человека страшящегося и рассудительного, но он уже не отмечает с ходу того, что обозначается именем

Сада. Инстинкты, описанные в “Жюстине” и “Жюльетте”, теперь имеют право гражданства, Жанены нашего времени их признают; они перестали прятать лицо и с ужасом и возмущением отвергать возможность их осознания; однако они допускают их лишь в сфере патологического.

Поэтому история религий лишь в незначительной степени способствовала сознательному пересмотру садизма. Выработка понятия садизма, напротив, позволила усмотреть в религиозных фактах нечто большее, нежели необъяснимую странность: именно сексуальные инстинкты, которым Сад дал свое имя, в конце концов, позволяют прояснить значение ужасов, связанных с жертвоприношениями, тогда как совокупность этих чудовищных проявлений обычно обозначается словом “патологический”.

Повторюсь: я не намерен бороться с этой точкой зрения. Если абстрагироваться от возможности отстаивать первый пришедший на ум парадокс, никто не станет отрицать, что жестокость героев “Жюстины” или “Жюльетты” неприемлема. Это — отрицание основ, на которых зиждется человечество. А мы должны так или иначе отвергать все, что имело бы своей целью уничтожить творения наших рук. Таким образом, если инстинкты толкают нас на разрушение того, что мы сами создаем, нам следует определить ценность этих инстинктов как губительную и защищать себя от них.

Но возникает другой вопрос: можно ли вообще избежать отрицания, являющегося целью этих инстинктов? Не происходит ли это отрицание в каком-то смысле извне, не лежат ли в его основе излечимые болезни, изначально не присущие природе человека, а также не свойственно ли оно отдельным индивидуумам и группам людей, которые в принципе возможно и необходимо устранить, короче говоря, не связано ли оно с элементами, которые следует отсечь от человеческого рода? Или же человек, напротив, несет в своей душе непреодолимое

стремление к отрицанию всего того, что под названием разума, пользы и порядка положило в основу своего существования человечество? Не является ли, другими словами, бытие с необходимостью одновременно утверждением и отрицанием своего основания?

#### 5. Порок — это, возможно, сердцевина человека

Мы могли бы нести садизм в себе, подобно некоему наросту, который некогда был функционален, но теперь стал ненужным, и который при желании можно удалить: в нас самих — отказавшись от него, а в других людях — прибегнув к наказаниям. Так поступает хирург с аппендицитом, а народ — с королями. Но не идет ли речь, напротив, о суверенной и неотъемлемой части человека, ускользающей, однако, от его сознания? Словом, не идет ли речь о его сердце (я имею в виду не орган, перекачивающий кровь, но сильные чувства, сокровенное начало, символом которого является этот внутренний орган)?

В первом случае разумный человек был бы немедленно оправдан; все было бы ясно, и человек продолжал бы плодотворно трудиться, построил бы мир по своим законам, избегал бы войн и насилия, меньше всего на свете беспокоясь о роковом влечении, до сих пор упорно связывавшем его с несчастьем. Это влечение было бы всего лишь дурной привычкой, от которой было бы необходимо и несложно избавиться.

И наоборот, представляется, что во втором случае подавление этой привычки затрагивает жизненно важную точку человеческого бытия.

Разумеется, последнее предположение требует уточнений: его настолько тяжело принять, что не должно оставаться никакой неясности.

Во-первых, оно предполагает наличие в людях непреодолимой тяги к разрушению и фундаментальное допущение постоянного и неизбежного стремления к уничтоже-

нию всего рождающегося, растущего и стремящегося к жизни.

Во-вторых, оно придает этому влечению и этому согласию в некотором роде божественное, а точнее, сакральное значение; именно в нас живет эта жажда истребления и разрушения, желание обратить в пепел наши ресурсы, да и вообще способность получать удовлетворение от истребления, сжигания и разрушения, определяемых как божественные, сакральные, которые одни обуславливают наше господствующее положение, иначе говоря, бескорыстные, не приносящие пользы, самоцельные, никогда не бывающие подчиненными достижению каких-либо результатов.

В-третьих, это предположение означает, что, полагая себя чуждым такому порядку вещей, отвергаемому разумом, человечество захирело бы и оказалось в положении, похожем на положение старых дев (такая тенденция имеет место, но в наши дни проявляется лишь отчасти), если бы оно время от времени не вело себя абсолютно противоположно своим принципам.

В-четвертых, это допущение связано с необходимостью для современного человека — имеется в виду человек обычный — прийти к самосознанию и, дабы ограничить сферу воздействия губительных средств, стремиться к тому, к чему безраздельно стремится оно, а именно: располагать этими средствами, если он испытывает в этом нужду, используя их, однако, в дальнейшем в пределах, определяемых самосознанием, и решительно противостоять им в той мере, в какой оно теряет способность их выдерживать.

#### 6. Насилие безмолвно, тогда как разум наделен речью

Это утверждение в корне отличается от провокационных суждений Сада в следующем: хотя его нельзя выдавать за мысль среднего человека (последний обычно рас-

суждает противоположным образом, он верит в устранимость насилия), оно может быть ему предложено и, благосклонно приняв его, он вряд ли обнаружит что-то такое, что нельзя было бы согласовать с его точкой зрения.

Рассматривая изложенные сейчас принципы в их наиболее очевидном выражении, я не могу не отметить того, что во все времена придавало человеческому лицу характерное для него выражение двойственности. В каком-то смысле, если взять крайности, существование в основе своей благопристойно и упорядоченно: труд, забота о детях, благожелательность и лояльность определяют взаимоотношения людей; с другой стороны, мы имеем разгул безжалостного насилия; в определенных условиях те же самые люди начинают грабить, поджигать, убивать, насиловать и подвергать своих собратьев пыткам.

Эти крайности охватывают понятия цивилизации и варварства (или дикости). Но употребление этих слов, связанное с представлением о том, что есть, с одной стороны, варвары, а с другой — цивилизованные люди, ошибочно. В самом деле, цивилизованные люди владеют речью, варвары молчаливы; тот же, кто умеет говорить, всегда цивилизован. Или, если быть еще более точным, в то время как язык по определению — средство выражения разумного человека, насилие безмолвно. Эта особенность языка имеет множество последствий: не только цивилизованный человек в большинстве случаев означал “мы”, а варвар — “другие”, но цивилизация и язык сложились таким образом, будто насилие — это нечто внешнее, чуждое не только цивилизации, но и самому человеку (ибо человек — это то же самое, что язык). Наблюдения, впрочем, показывают, что те же народы и чаще всего те же люди ведут себя то как варвары, то как цивилизованные существа. Нет таких дикарей, которые не умели бы говорить, а, разговаривая, не выказывали бы лояльности и благожелательности, являющихся основами цивилизованной жизни. И наобо-

рот, вряд ли найдутся цивилизованные люди, которые не были бы склонны к проявлениям дикости: обычай линча был введен людьми, умеющими говорить, уже почти в наши дни, в эпоху зарождающейся цивилизации. Если мы хотим вывести язык из тупика, проистекающего из этой сложности, следует сказать, что насилие, будучи присуще человечеству в целом, как правило, хранит безмолвие, что таким образом все человечество лжет, прибегая к умолчанию, и что язык как таковой основан на этой лжи.

## 7. Язык Сада

Обыденный язык отказывается от выражения насилия, отводя ему место лишь чего-то недостойного и преступного: он его отрицает, отнимая у него всякое право на существование и какую-либо возможность оправдания. Если, однако, как это случается, насильственный акт все же имеет место, то это означает, что где-то была допущена ошибка: подобным же образом представители древних и отсталых цивилизаций полагали, что смерть может наступить только в том случае, если кто-то, прибегнув к волшебству или каким-то иным средствам, станет ее виновником. Насилие в передовых обществах и смерть в отсталых не заданы изначально: лишь некая ошибка может повлечь их за собой.

Однако язык не устраняет того, с чем, по собственному бессилию, он не желает иметь дела: насилие не менее реально, чем смерть, и если, прибегая к уловке, язык скрывает конечность всего сущего — радостное деяние времени, — то страдает от этого и оказывается вследствие этого ограниченным только сам язык, а не время и не насилие.

Рациональное отрицание насилия — бесполезное или опасное — устраняет свой объект не в большей степени, чем безрассудное отрицание смерти. Однако выражение насилия наталкивается, как я сказал, на двойное сопро-

тивление — разума, который его отрицает, и самого насилия, которое более всего устраивает презрительное молчание.

Разумеется, сложно рассматривать эту проблему теоретически. Лучше исходить из конкретных примеров, скажем, такого: я помню, как однажды прочитал рассказ одного депортированного, который поверг меня в угнетенное состояние духа. Но в качестве парадокса мне подумалось, что интерес могло бы представить и повествование с диаметрально противоположной точки зрения, написанное палачом. Я вообразил этого пишущего скота и мысленно прочел следующие строки: “Я бросился на него, осыпая этого человека градом ругательств, и, так как руки были связаны у него за спиной и сопротивляться он не мог, я со всей силой начал молотить его кулаками по лицу; он упал, и мои сапоги довершили дело; с чувством отвращения и одновременно с облегчением я плюнул в его распухшее от побоев тело. Я не смог тогда удержаться от смеха — ведь я очень подло осквернил мертвеца”. К несчастью, искусственность этих строк объясняется не их неправдоподобием, а иными причинами... Вряд ли палач писал бы таким вот образом.

Как правило, язык палача — это не язык насилия, которое он осуществляет во имя господствующей власти, но язык самой власти, которая внешне его извиняет, оправдывает и придает его существованию возвышенный смысл. Надо сказать, что, вынужденные всегда молчать, насильники приноравливаются к таким хитростям. Однако привычка к обману и плутовству — это дверь, открытая для насилия. В той мере, в какой человек проявляет тягу к пыткам и казням, должность наемного палача не представляет сложностей: палач, поскольку он служит себе подобным, говорит на языке Государства. Но если он оказывается во власти страстей, молчание, которое было для него естественным, теперь омрачает его наслаждение.

Честно говоря, поведение персонажей Сада довольно

часто обнаруживает подобную же плавность [перехода], но лишь отчасти: они никогда не придают значения разговорам, которые ведут публично, и, втайне испытывая потребность в том, чтобы насилие заговорило, подыскивают своим преступлениям оправдание, основанное на высшей ценности насилия: эксцесса, убийства, безрассудного разгула страстей.

Но если рассматривать жизнь самого Сада, то несходство его поведения с поведением палача проявляется гораздо более отчетливо и в такой степени, что поведение Сада — это полная его противоположность. В самом деле, творчество Сада отвергает плутовство. Сад написал бесчисленные произведения, имеющие одну направленность, и он постарался их опубликовать. Когда 14 июля в Бастилии, в ходе беспорядков, возникших из-за восстания, потерялась рукопись “120 дней Содома”, он плакал “кровавыми слезами”. Его персонажи жульничали, но сам он отказывался от обмана: не прибегая к уловкам, Сад в то же время отстаивал право на мошенничество! Даже в каком-то смысле утверждал его необходимость!

Дело в том, что в основе его поведения лежит двусмысленность, разительный парадокс. Как подчеркивается в эссе Мориса Бланшо\* (далее мы увидим доказательство того, что насилие действительно лишено дара речи), Сад говорит, но говорит от имени одинокого человека и даже, если хотите, от имени человеческого одиночества. В его представлении одинокий человек ни как не способен беспокоиться о нуждах себе подобных, это — суверенное в своем одиночестве существо, которое никому ничем не обязано. Конечно, он мог бы остановиться из страха самому получить рикошетом удары, наносимые им другим людям, но об этом не может быть и речи. Одиночество изначально содержит в себе силу, позволяющую быть одиноким, не вступать в связи, ко-

\* “Лотреамон и Сад”, “Эдиссон де Минкои”, 1949.

торые устанавливаются между людьми в силу их ограниченности: это требует незаурядного мужества, но именно о таком незаурядном мужестве и идет речь. И Бланшо, убедительно показавший эту составную одиночества, прав, демонстрируя нам одинокого человека, шаг за шагом приходящего к полному, законченному отрицанию всего того, что не является им, и в конечном счете — к отрицанию самого себя. Справедливо и то, что всеобъемлющее насилие, которое не останавливается ни перед чем, предполагает также полное отрицание жертвы. Это отрицание противоречит самому наличию языка.

Язык [Сада], можно сказать, преходящий, он обращен к редким умам, способным стремиться из глубины рода человеческого к нечеловеческому одиночеству. Тот, кто его слушает, впрочем, заведомо отрицается тем, что он слышит, если только однажды у него не достанет сил отрицать говорящего (в этом смысле ничто так не противоположно непреклонной позиции Сада, как его почитание).

Даже если предположить, что этот процесс устранения бесконечен, язык, в отличие от плутовства, также противоположен одиночеству. И наоборот, насилие противоположно лояльности к другому, являющейся основой языка. Следует определить язык Сада: это язык, не признающий наличия связи, общения между говорящим и теми, с кем он разговаривает, а следовательно, не признающий самого языка, который, по существу, и является этим процессом. Иными словами, в одиночестве нет ничего, что соответствовало бы какой бы то ни было коммуникабельности.

И, однако, язык Сада обращен [est loyal]! Странное одиночество, в котором он осуществляется, не то, чем кажется поначалу: можно подумать, что это одиночество совершенно отделено от рода человеческого, отрицанию которого оно себя посвятило, но оно [все же] посвятило себя... Плутовство одинокого человека не имеет

никаких пределов, за исключением разве что одного: он не сможет обмануть самого себя. Не думаю, чтобы он был обязан этим роду человеческому, это не долг по отношению к другим, в конечном счете, этим он обязан самому себе: по крайней мере, я не вижу большой разницы...

В самом деле, одинокий человек Сада, охваченный сладострастным исступлением, находит в своем одиночестве то, что другие осмеливаются находить лишь в безличности человеческого рода или в высших ценностях, которым подчинилось человечество. Но человечество или его высшие ценности воспринимались каждым человеком как [силы] ограничивающие его желания. В противоположность этому одинокий человек подменяет человечество, скованное ограничениями, налагаемыми во имя общих интересов на каждого индивидуума, человечеством вполне свободным, представленным в его лице. Таким образом, у него есть цель, проявляющаяся в бунте: взамен лукавого попустительства ему надлежит найти "силу, необходимую для того, чтобы преодолеть последние пределы". "Ему надлежит" — поскольку он человек, жаждущий продвинуть как можно дальше это человечество, которое принадлежит ему. На самом деле, его одиночество — лишь последнее выражение человеческого рода, находящего радикальный выход в отрицании всех бед, всех границ и вообще всякого интереса, кроме самого одиночества, а значит, и всего того, что попадает ему на пути и препятствует его движению.

8. Дискурсивный язык смягчает насилие, одновременно его возбуждая

После всего сказанного бесполезно рассмотреть обстоятельства, при которых Сад пришел к позиции, столь отличной от позиции палача.

Это поразительно: в противоположность лживому языку палачей, язык Сада — это язык жертвы: он изо-

брел его в Бастилии, когда писал “120 дней Содома”. В то время с человечеством у него были такие же отношения, какие у человека, угнетенного суровым наказанием, бывают с тем, кто ему это наказание определил. Я сказал, что насилие безмолвно. Но человеку наказанному молчать трудно. Не произнося ни слова, он как бы принимает вынесенный ему приговор. От чувства собственного бессилия многие люди довольствуются безразличием, к которому примешивается ненависть. Но Сад взбунтовался в своей темнице, и бунт в его душе должен был (чего не бывает с насилием) заговорить. Взбунтовавшись, он защищался, ввязавшись в бой на территории человека нравственного. Язык аргументирует наказание, обоснованность которого может опровергнуть опять же только язык. Письма Сада из заключения свидетельствуют о том, как яростно он защищался, то умаляя серьезность проступка, то доказывая незначительность мотива, придаваемого в его окружении наказанию, которое, казалось бы, должно было его исправить, но, напротив, лишь привело его в иступленное состояние. Однако эти протесты носят поверхностный характер. Вскоре Сад затронет существо спора, подвергнув суду, — подобному тому, который состоялся над ним, — приговоривших его людей, Бога и вообще всякое ограничение, на которое наталкивается его ярость. На этом пути ему предстояло обрушить обвинения на весь мир, даже на природу, на все то, что дерзнуло не принять верховенство его страстей.

Таким образом, чтобы избежать плутовства, Сад, понеся жестокое наказание, заставил насилие говорить.

Отсюда не следует, что последнее приобрело средства выражения, отвечающие собственно потребностям насилия более полно, нежели нуждам языка. С позиции обычного человека, подчиняющегося всеобщей необходимости или принимающего факт этого подчинения, самозащита Сада, естественно, была некорректной. Так что его огромное литературное наследие, учившее оди-

ночеству, к тому же учило в одиночестве, и прошло добрых полтора века, прежде чем этот урок услышали, если и не применили на деле.

Вначале я показал, что только непонимание со стороны большинства людей должно было под видом отвращения дать Саду единственную возможность воплотить свои воззрения; и что противоположностью подобного тупика является восхищение, которое, не затрагивая непреклонного одиночества свободного человека, было скорее предательством этой философии, нежели ее признанием. Но выражение насилия (не говоря о том, что оно требует соблюдения логики и рассчитано на возможного слушателя) к тому же обладает способностью превращать насилие в то, чем оно не является, даже в его противоположность — в продуманное стремление к насилию. Этот изъян производит тягостное впечатление при чтении повествований Сада, внезапно прерываемых рассуждениями его самых разнузданных героев о преступлении: в самом деле, мы то и дело перемещаемся из одного мира в другой. Поскольку эти рассуждения имеют целью реагировать на насилие, приводимые в них доказательства, изложение принципов и представлений о мире странным образом отдают нас от него. Невозможно одновременно испытывать возбуждение столь интенсивное, что самые дикие преступления становятся если не терпимыми, то понятными, и находить удовольствие в этих холодных рассуждениях. Иногда в ситуациях более необычных эти отступления окрашиваются юмором, соответствующим скабрезным намерениям автора, но в других случаях, как, например, в “Философии в будуаре”, это приводит к снижению накала, вызывает ощущение тщетности усилий, что дисгармонизирует с занимательностью и с порочным возбуждением ума. Перенесенные в плоскость рассудка, божественные и безрассудные проявления насилия перестают воздействовать, и возникает такое чувство, что мы являемся свидетелями великого провала.

### 9. Божественное сладострастие зависит от “неупорядоченности”

Так или иначе, но у всех нас, пусть даже в самой незначительной степени, есть опыт сдвига: так, находясь во власти чувственного возбуждения, мы охотно представляем какую-нибудь пикантную ситуацию (ни целомудрие, ни благочестие не могут уберечь от этого испытания), но, когда возбуждение спало, особенно если мы получили удовольствие, та же самая картина лишается смысла. Подобным же образом хладнокровие рассудочного языка лишает эротику ее единственной ценности, которая заключается в том, чтобы, образно выражаясь, пощекотать нам нервы. Однако в своих рассуждениях Сад избегает — по крайней мере старается избежать — подобной неудачи благодаря своеобразному сдвигу. Не принимая больше в расчет ограничений, полностью отрицая очевидное, воплощая свои безумные видения так, словно это реальность, язык Сада, производящий впечатление рассудочного, обнаруживает свою глубинную природу, являющуюся противоположностью чрезмерности, а именно: сдвигом. В каком-то смысле речь была для Сада, возможно, лишь средством, позволяющим прийти к великой неупорядоченности языка.

Итак, я вынужден признать, что, поскольку насилие решительно безмолвно, наделение его даром речи должно было означать его предательство (и в то же время предательство законов языка). Но это утверждение может быть при желании опровергнуто...

Если речь идет о беспорядке, о языке, который таковым не является, можно, не отклоняясь от истины, переказать другими словами то, о чем я уже сказал: неупорядоченное использование языка есть, возможно, неупорядоченная форма молчания... Это безобидное “контрпредложение” представляется всего лишь игрой, но оно приобретает совсем иное значение, если помимо

его логического смысла сослаться на подлинный опыт, с которым оно соотносится.

Вначале я говорил о наслаждении, пропорциональном, согласно Саду, разрушению. Это было не совсем точное предложение, мне кажется, что лучше сказать — [не разрушению, а ] неупорядоченности. Если правила, которым мы следуем, обычно направлены на сохранение жизни, неупорядоченность, напротив, связана с разрушением. Однако неупорядоченность — это более широкое и легче усваиваемое понятие; в принципе нагота — это способ быть неупорядоченным, поэтому она значима для наслаждения, хотя подлинного разрушения [здесь ] не возникает (но та же самая нагота перестает действовать, утрачивая элемент неупорядоченности, например, на приеме у врача или в лагере нудистов...). В творчестве Сада мы встречаемся с самыми неожиданными проявлениями неупорядоченности, но иногда подчеркивается неупорядоченный характер самого простого элемента эротической привлекательности, такого, например, как раздевание. Во всяком случае, в глазах персонажей Сада ничто так не “возбуждает”, как беспорядочность. Можно даже сказать, что главная заслуга Сада состоит в том, что он открыл и продемонстрировал [содержащуюся ] в сладострастном порыве функцию нравственной неупорядоченности. Специфический эффект [последней ] непременно предполагает осознание ограниченности возможностей получения удовольствий генитальными средствами; ведь, согласно Саду, получать удовольствие можно не только от убийств или пыток, но также от разорения семьи, страны и просто от совершения кражи.

Обратясь к житейскому опыту, нетрудно обнаружить постоянную ответную реакцию на неупорядоченность: брак — это противоположность тому возбуждающему средству, каковым для большинства является смена партнера. Неупорядоченности, способные возбуждать, вероятно, являются разными в зависимости от детских эротических комплексов; с другой стороны, они перестают

действовать, становясь чересчур сильными и беспокоя нас до такой степени, что начинают вызывать отвращение; наиболее действенной из них [в этом случае] окажется та, которая сможет нас парализовать чем-то едва уловимым. Но в любом случае не может быть интенсивного возбуждения, если нечто неупорядоченное не вызывает у нас [чувство] тревоги. Рассматривая понятие правила, можно было бы, наверное, без труда показать то, что в нем противопоставляет человеческую жизнь нерегламентированной животности (у животного тоже есть свой порядок — он имеет то же самое значение, хотя формы его проявления не столь четки, — но здесь речь идет о животном, нечеловеческом поведении людей). По сути, правило регламентирует полезную деятельность, а ритуальные акты, совершаемые на празднике, являются его нарушениями: цель правила — это всегда польза и прежде всего приумножение ресурсов. Расточительство обратно правилу: оно вызывает то тревогу, то чувство радости, необузданной страсти, к которой примешивается страх, являющийся сущностью сексуальной активности. Без осознания тревожного беспорядка не бывает эротического счастья (разумеется, счастья безмерного): если она обещает беспорядок, от наготы, даже мельком увиденной, захватывает дыхание.

Из этого противопоставления отчасти проистекает двойная система ценностей. Этот двойственный ее характер не был признан, и ценности беспорядка воспринимались в целом как полезные. Однако ценности беспорядка, хотя они до сих пор и не признаны (завуалированы), являются единственно божественными, сакральными и сущными, ибо всякая полезная ценность в огромной степени подчинена им. В действительности, они не были признаны в чистом виде: то, что люди считали божественным, сакральным или высшим, всегда опосредованно обретало утилитарность: боги были гарантами поддержания порядка, жертвопри-

ношения способствовали плодородию возделываемых полей, а короли управляли армиями. Только абсолютные беспорядок и одиночество могли лежать в основе высшей ценности, которая приобрела бы блеск солнца, но, как и этот блеск, стала бы нестерпимой. Представьте себе ребенка, ни от кого не зависящего, обладающего недюжинной силой и интеллектом, которые он употреблял бы для удовлетворения своих капризов, видя в других людях что-то вроде игрушек. Однако человек, закабаленный работой и накоплением ресурсов во имя поддержания жизни, способен прийти к высшей свободе лишь посредством беспорядка, может быть, и не столь же безобидного, но, по крайней мере, столь же по-детски нелепого.

Любопытно рассмотреть эти истины сквозь призму творений Сада, написанных внешне вполне логичным, но глубоко беспорядочным языком. Как будто принцип беспорядка не мог быть сформулирован в соответствии с правилом, как будто это была совершенно непосильная задача. Но если в этих пространственных беспорядочных рассуждениях можно усмотреть попытку искупления истины, ослепившей Сада, то следует отметить, что, отказываясь от принципа беспорядка, анализ, проясняющий сделанное Садом открытие, все более и более отдаляется и от насилия!

## 10. Сложности и пределы “самосознания”

Он отдаляется от насилия по собственной воле.

Дело в том, что, встав на путь [создания нового] языка и наделив насилие своим голосом, Сад совершил не только беспримерный [по своей смелости] поступок. Одновременно он разрешил проблему, которую ставит несовершенство нашего сознания. То, о чем умалчивает логический дискурс, и является именно тем, что ускользает от сознания. (В самом деле, если язык дискурсивен, сознание ничем не отличается от языка...). Однако обра-

тим внимание на такой факт: насилие может занять в сознании подобающее ему место только при одном условии — если оно достигнет высшего напряжения. В противном случае оно осталось бы чем-то второстепенным и всего лишь терпимым в этом утилитарном мире... если, конечно, оно молчало бы и хранило на своем лице маску. Итак, понадобился не только один из самых порочных умов, когда-либо являвшихся на свет, понадобилось вдобавок нескончаемое заточение, удвоившее его ярость. После четырех лет, проведенных в тюремной камере, сам Сад очень точно описал последствия сурового обращения, которому он подвергся: "...вы вообразили, готов побиться об заклад, что поступили превосходно, принудив меня к ужасному воздержанию от *плотского греха*". Что ж, вы ошиблись, вы породили во мне призраков, которые я должен буду воплотить. Это уже начиналось и непременно возобновится с новой силой. Когда котелок с водой слишком долго кипятят, вы знаете, что вода обязательно перехлестнет через край"\*. Или дальше: "Когда имеют дело с необузданной лошадей, на ней скачут по вспаханным полям, но ее никогда не запирают в конюшне". Сад не мог знать тогда, что пробудет в заточении еще семь лет: он написал "Жюстину" (по крайней мере ее первую редакцию) и "120 дней" в конце своей нескончаемой пытки.

Вряд ли можно было представить себе появление столь радикального протеста, если бы на Сада не повлияла совокупность всех этих обстоятельств. В иной форме его просто невозможно себе вообразить. Будь он смягчен сдержанностью, имей он гуманистическую окраску, язык Сада породил бы двусмысленность: насилие не было бы предложено сознанию в качестве суверенной ценности, оно по-прежнему оставалось бы чем-то скрытым. Только в одной случае оно могло выйти из своего подчи-

\* Подчеркнуто в тексте — прим. автора.

\*\* Маркиз де Сад. *L'Aigle Mademoiselle*; письма, опубликованные Жильбером Лели, с.104.

ненного состояния (или молчания) и стать абсолютно главенствующим. Именно это делает творчество Сада уникальным: оно "непревосходимо". Морис Бланшо с полным основанием мог написать о "Жюстине" и "Жюльетте": "Можно утверждать, что ни в одной из литератур любых эпох не появлялось произведения столь же скандального, которое так же глубоко задевало бы чувства и мысли людей... Нам повезло: мы познакомились с творением, превзойти которое не отважился никто другой из писателей ни в одну из эпох; итак, в этом столь относительном мире литературы перед нами в некотором роде подлинный абсолют..."\*. Дело в том, что в противоположность правилу, которое всегда является подчиненным, утилитарным, или второстепенному беспорядку, склоняющемуся перед правилом, б е с п о р я д о к, наделенный полной свободой, может быть суверенен лишь абсолютно.

Однако абсолютно суверенный ум предлагает сознанию высшую ценность насилия; сам же он не может оставаться сознательным, поддерживать в себе прозрачность и соблюдать строгие ограничения, налагаемые сознанием. Чаще всего Сад проявлял исключительную ясность ума, его рассуждения не лишены ни силы, ни живости. Но эта сила превосходит конечную размеренность (*enchaînement*). Вторжение беспорядка в область сознания, которому он не противится, могло, как я уже сказал, быть только беспорядочным. Насилие у Сада было сознательным, но лишь в той мере, в какой само сознание поддавалось искажению путем насилия. Насилие, вступившее в сделку с сознанием, само отчасти утратило безжалостное презрение ко всем остальным людям, а главное — сознание, в котором отражалось насилие Сада, утратило свойственное сознанию стремление к тому, чтобы сохранялась возможность жизни.

\* Бланшо, цит. произв., с.215.

Таким образом, Сад не мог предложить сумеречному сознанию одержимых насилием людей признать суверенность насилия, ибо это способен сделать исключительно средний человек, наделенный ясным и отчетливым сознанием. Лишь в той мере, в какой беспорядок стремится к господству над сознанием, управляемым рассудком, насилие может попытаться занять место (непременно наилучшее) в системах ценностей, каковыми руководствуется цивилизованное человечество. Впрочем, достаточно поставить проблему, чтобы заметить ее сложность; своей целью она имеет познание человеком того, чем является он сам, т.е. самосознание.

Несомненно, самосознание — основная цель человека, проявляющаяся в устремлениях всего сущего, но насилие противопоставляет ему замкнутую сферу, и представляется, что осознание этой сферы недоступно тому, кому недостает насилия (оно недоступно, в частности, тогда, когда насилие искажает сознание и приводит его в беспорядок). Другими словами, поскольку человек — продукт двух противоположных начал, осознание того, чем он является, для него невозможно. Он непременно теряет в одной области то, что приобретает в другой. Будучи в высшей степени жестокими, мы склонны утрачивать сознание, и чем большим сознанием мы наделены, тем в большей степени мы подчиняем суверенность насилия утилитарным целям сознания.

Итак, мы можем избрать лишь один из двух подходов. И если исходить из хода мысли Сада, за которым можно следовать лишь в направлении беспорядка, такой подход под силу только сознанию обычного человека. Он уже задан жизнью и творчеством самого Сада, обладающего характером, весьма далеким от идеала его героев. Он не был тем одиноким человеком, которого вывел в своих произведениях; его жизнь, обуреваемая нечеловеческими страстями, тем не менее, являет нам и вполне человеческие черты. Он любил, имел друзей, часто вел себя вопреки духу одиночества. Тяготел к проявлениям

высшего беспорядка, но при этом поступал так, как если бы был нечестивым рыцарем, ищущим свой Грааль. Кажется, искал он [его] страстно, и Сад имеет в виду самого себя, когда пишет по поводу “некоторых голов”: “Все беспокойства, все хлопоты, все заботы, которые сопутствуют жизни, отнюдь не превращаясь для них в мучения, напротив, доставляют им радость; это что-то вроде строгостей любовницы, которую ты обожаешь, — ты был бы огорчен, если бы лишился возможности пострадать из-за нее”\*. Но Сад мог страдать исключительно от последствий самых тяжких пороков — к примеру, от тюремного заключения, — он всегда лишь приближался к одиночеству беспорядка.

Только обыкновенный человек способен хладнокровно рассуждать о порывах, приводящих его в возбуждение, и о пределах, встающих на его пути, чего не удавалось Саду. В самом деле, такой человек может без ущерба придать своей рефлексии полезную цель, — каковой в каком-то смысле, наверное, является самосознание — без чего насилие никогда не перестанет беспокоить людей, нарушать их планы и вообще приводить в смятение цивилизованный мир. В таком случае его цель — беспорядок, однако, сознание, его отражающее, не является более беспорядочным. Морис Бланшо, который положил начало, так сказать, трезвому анализу философии Сада, приходит к такому выводу: “Мы не утверждаем, что эта мысль жизнеспособна. Но она показывает, что между человеком нормальным, загоняющим садиста в тупик, и садистом, который превращает этот тупик в выход, располагается тот, кто знает больше других об истинном своем положении и обладает более глубоким его пониманием, поэтому он способен помочь нормальному человеку осознать самого себя, содействуя ему в изменении условий всякого осмысления”\*\*.

\* L'Aigle Mademoiselle..., с.106.

\*\* Бланшо, цит. произв., с.216.

Действительно, обычный, средний человек (и только он) может обнаружить в проявлениях насилия отрицание правила, отказ не только от человеческого или божественного закона, но от мира и от самого бытия. И он же может знать, что этот отказ лежит в основе человеческой жизни, ставя сладострастие в пропорциональную зависимость от мира, который его подавляет.

Впрочем, нормальный человек подобным образом участвовал во всеобщем уничтожении, но другим путем — предаваясь религиозному мистицизму. Однако и здесь возникали те же сложности, так как сознание мистика ускользает в той мере, в какой им овладевает духовное насилие: восторг мистика также пропорционален беспорядку сознания. Но у Сада сам принцип беспорядка, по меньшей мере, не ускользал от беспорядочного сознания. Насилие, лежавшее в основе человеческого опыта, не представлялось сознанию насилием и беспорядком; оно было лишь отрицанием вообще и, оставаясь неясным, не затрагивало право обычного человека на возможное. Тогда как из творений Сада он узнал, что, хотя поиск возможного составляет его удел, благодаря высшим проявлениям сладострастия он, тем не менее, принадлежит невозможному.

## Жорж Батай *Суверенный человек Сада*<sup>1</sup>

Те, кто ускользает из-под власти рассудка, —  
мошенники и короли

В мире, в котором мы живем, ничто не соответствует капризному возбуждению толп, повинующихся порывам неконтролируемой жестокости и неподвластных рассудку.

Каждому сегодня необходимо отдавать отчет в своих поступках, подчиняться во всем законам разума. От прошлого остались только пережитки, и лишь воровской мир, вследствие своей скрытой тяги к насилию, в достаточной степени избегает контроля, поддерживая внутри себя [определенное количество] избыточной энергии, не расходуемой в процессе работы. По крайней мере, так обстоит дело в Новом Свете, который оказался ограничен холодным рассудком в большей степени, чем Старый (разумеется, Центральная и Южная Америка, если обратиться к Новому Свету, отличаются от Соединенных Штатов, и наоборот, уже в противоположном смысле, сфера влияния Советского Союза противоположна капиталистическим странам; однако нам не хватает сегодня и еще долго не будет хватать данных, — подобных тем, что привел в своем докладе Кинси<sup>2</sup>, — которые описывали бы ситуацию во всем мире: те, кто пренебрегает этими данными, пусть даже и приблизительными, вероятно, не осознают, какое большое значение имел бы доклад Кинси, будь он посвящен положению дел в Советском Союзе).

В прежнем мире отказ индивида от избыточного эротизма в пользу разума осуществлялся по-иному. Он по

крайней мере стремился к тому, чтобы в лице ему подобного человечество вообще избежало ограничений со стороны целого. Выражая всеобщую волю, монарх получал привилегию богатства и праздности, самые юные и самые красивые девушки обычно предназначались ему. Кроме того, войны предоставляли победителям более широкие возможности, чем каждодневный труд. Некогда завоеватели имели преимущество, которым по-прежнему обладает в американском обществе воровской мир (эти мошенники, правда, являются не более, чем жалким пережитком прошлого). Впрочем, наличие рабства продлило эффект войн: он имел место вплоть до русской и китайской революций, однако, остальная часть мира извлекает из этого выгоду, либо страдает, в зависимости от того, как на это посмотреть. Несомненно, Северная Америка, если взять некоммунистический мир, является той средой, где отдаленные последствия рабства, в плане социального неравенства, имеют наименьшее значение.

Во всяком случае исчезновение монархов, кроме тех немногих, кто еще сохранился (по большей части они приручены, и их власть ограничена разумными пределами), не позволяет нам сегодня увидеть “цельного человека”, о котором мечтало когда-то человечество, не в силах обеспечить равные возможности для всех. Недостижимая роскошь королей, подобная той, о которой мы узнаем из старинных описаний, лишь подчеркивает убогость примеров, являемых нам и поныне американским воровским миром или европейскими богачами. Не говоря уж о том, что этим последним не достает впечатляющего аппарата королевской власти. Мы имеем дело только с жалким ее подобием. Смысл старинных ритуалов заключался в том, чтобы зрелище королевских привилегий компенсировало убожество повседневной жизни (подобным же образом представления комедиантов компенсировали скуку безмятежной и сытой жизни). В

последнем акте развязка комедии, которой предавался древний мир, была самой мучительной.

Высшая абсолютная свобода рассматривалась  
(в литературе) вслед за революционным  
отрицанием принципа королевской власти

В каком-то смысле это был целый букет фейерверков, но букет странный, огненный, ускользающий от взора, им ослепленного. Это зрелище давно перестало удовлетворять толпу. Усталость? Индивидуальная надежда каждого получить свою долю удовольствий?

Уже в третьем тысячелетии в Египте перестали поддерживать тот порядок вещей, оправданием которому служил один фараон: взбунтовавшаяся толпа желала получить свою долю роскошных привилегий, каждый хотел бессмертия для себя — ведь до сих пор оно было доступно одному лишь правителю. Французской толпе в 1789 году захотелось пожить в свое удовольствие. Величие сильных мира сего отнюдь не доставляло ей радости — раскаты ее гнева стали еще более оглушительными. Человек одинокий, маркиз де Сад воспользовался этим гневом, чтобы разработать систему и под видом хулы довести до крайности ее последствия.

Система маркиза де Сада на самом деле является не воплощением, а, скорее, критикой метода, ведущего к расцвету цельного человека, возносящегося над зачарованной толпой. Сад попытался в первую очередь поставить привилегии, унаследованные им от феодального режима, на службу своим страстям. Но уже в то время (как, впрочем, и почти всегда) этот режим был в достаточной степени ограничен разумом, чтобы восстать против злоупотреблений вельможей своими привилегиями. Внешне эти злоупотребления не отличались от тех, которым предавалась знать того времени, но Сад допустил неосторожность (к тому же, на его беду, у маркиза была влиятельная теща). И он очутился в башне Венсеннско-

го замка, затем в Бастилии, став жертвой царившего тогда произвола. Произвол этот, враг старого режима, сломил его: Сад не одобрял эксцессов Террора, но был якобинцем, ссекретарем секции. Свою критику прошлого он развивал как бы в двух регистрах, совершенно различных и независимых друг от друга. С одной стороны, он встал на сторону Революции и осуждал королевский режим, а с другой — воспользовался безграничным характером литературы, предложив читателям образ своего рода высшего человечества с привилегиями, которые не требовали одобрения толпы. Воображение Сада нарисовало неслыханные (в сравнении с реальными привилегиями господ и королей) привилегии, которые были бы по плечу коварным вельможам и королям, наделенным благодаря романному вымыслу всемогуществом и безнаказанностью. Произвол фантазии и ее зрелищная ценность открывали гораздо более широкие возможности, нежели те институты, которые отвечали (в лучшем случае — в весьма малой степени) потребности в существовании, свободном от ограничений.

Тюремное одиночество и ужасающая истина воображаемой чрезмерности

Некогда присущее всем желание вело к бесконечному удовлетворению эротических капризов экстастика. Но все это происходило в рамках, за которые, изумляя читателя, вырвалось воображение Сада. Суверенный персонаж Сада уже не является только тем человеком, которого подталкивает к чрезмерности толпа. Сексуальное удовлетворение, к которому стремятся все, не есть то удовлетворение, которое Сад намерен сделать целью своих воображаемых героев. Сексуальность, о которой он размышляет, даже идет вразрез с желаниями других людей (почти всех людей), становящихся в таком случае уже не партнерами, а жертвами. Сад исходит из уникальности (*unicisme*) своих героев. Отрицание парт-

неров, по Саду, является ключевым элементом его системы. Эротизм, если он ведет к согласию, противоречит в его глазах порыву к насилию и смерти, каковым он в принципе является. Сексуальный союз в основах своих скомпрометирован, он — нечто среднее между жизнью и смертью: только при условии разрыва общности, его ограничивающей, эротизм обнаруживает свой насильственный характер, который есть его суть и осуществление которого только и соответствует образу суверенного человека. Лишь ненасытность злобного пса могла бы воплотить бешенство того, кто ничем не ограничен.

Реальная жизнь Сада вынуждает нас заподозрить в утверждении суверенности, доведенной до отрицания другой личности, элемент бахвальства. Однако именно бахвальство и требовалось для того, чтобы разработать философию, очищенную от слабостей. Сад учитывал в своей жизни другую личность, но его представление о том, каким должно быть [ее] осуществление, о чем он мучительно размышлял в тюремном одиночестве, требовало, чтобы другой человек перестал приниматься в расчет. Пустыня, каковой сделалась для него Бастилия, литература, ставшая единственным выходом для его страсти, — все это привело к тому, что некий избыток раздвинул границы возможного, позволив [ему] выйти за пределы самых безрассудных фантазий, какие когда-либо рождались в человеческом уме. Благодаря этой выкристаллизовавшейся в заточении литературе мы получили убедительный образ человека, который перестал принимать во внимание другую личность.

По словам Мориса Бланшо\*, мораль Сада “зиждется прежде всего на факте абсолютного одиночества. Сад не раз повторял это в различных выражениях: природа рождает нас одинокими, каких-либо связей между

\* “Лотреамон и Сад”, “Эдиссон де Минюи”, 1949, с.220-221. Исследование Бланшо не только является первым внятным изложением мысли Сада: по выражению автора, мысль эта помогает человеку понять самого себя, помогая ему изменить условия всякого понимания.

людьми не существует. Единственное правило поведения заключается в следующем: я предпочитаю все то, что доставляет мне удовольствие, и ни во что ни ставлю все то, что, вытекая из моего предпочтения, может причинить вред другому. Самое сильное страдание другого человека всегда значит для меня меньше, чем мое удовольствие. Неважно, если я вынужден покупать самое жалкое удовольствие ценой невероятных преступлений, ибо удовольствие тешит меня, оно во мне, тогда как последствия преступления меня не касаются, ведь они — вне меня”.

Анализ Мориса Бланшо адекватно отражает основную мысль Сада. Эта мысль, конечно, искусственна. Она игнорирует фактическую структуру каждого реального человека, который непредставим в отрыве от его связей с другими и их связей с ним. Независимость человека, однако, никогда не переставала быть чем-то большим, нежели ограничение, налагаемое на взаимную зависимость, без которой ни одна человеческая жизнь попросту не состоялась бы. Это — первое соображение. Но мысль Сада не столь уж безумна. Она есть отрицание лежащей в ее основе реальности; она содержит в себе момент чрезмерности, ставящий под угрозу основание, на котором зиждется наша жизнь. Для нас подобная чрезмерность неизбежна тогда, когда мы в состоянии рисковать тем, что составляет основу нашей жизни. И наоборот, если бы мы отрицали подобные моменты, нам не удалось бы узнать, кто мы такие.

В целом философия Сада вытекает из моментов [чрезмерности], игнорируемых разумом.

Эксцесс по определению находится вне разума. Разум связан с работой, трудовой деятельностью, являющейся выражением его законов. Но сладострастие нет дела до работы; как мы видели, трудовой процесс, по-видимому, не способствует интенсификации эротической жизни. По отношению к расчетам, в которых принимаются во внимание польза и затраты, даже если рассмат-

ривать сладострастие как полезную деятельность, оно по сути своей чрезмерно, тем более, что обычно сладострастие не имеет последствий, что оно желанно само по себе, и в этом желании проявляется стремление к чрезмерному, составляющему его содержание. И именно здесь в разговор вступает Сад: он не формулирует изложенных выше принципов — он их привлекает, утверждая, что степень сладострастия возрастает, если ему сопутствует преступление, и чем чудовищнее это преступление, тем большее сладострастие испытывает преступник. Понятно, каким образом эксцессы сладострастия приводят к тому отрицанию другой личности, которое, с точки зрения человека, является к р а й н ы м отрицанием принципа, лежащего в основе жизни.

Сад был уверен, что совершил важное в познавательном плане открытие. Поскольку преступление приводит человека к наивысшей степени сладострастного наслаждения, к утолению самых сильных желаний, вряд ли есть что-либо более важное, чем отрицание солидарности, противостоящей преступлению и не позволяющей им насладиться. Мне представляется, что эта жестокая истина открылась ему в одиночестве тюремного заключения. С тех пор он стал пренебрегать тем, что могло, даже в нем самом, служить доказательством тщетности подобных воззрений. Не любил ли он, как и всякий человек? Не привело ли бегство Сада со свояченицей к тому, что он оказался в тюрьме, ибо навлек на себя гнев своей тещи, которая добилась от короля письма о его заточении без суда и следствия? Не было ли закономерным то, что впоследствии он увлекся политической деятельностью, защищая интересы народа? Не ужаснулся ли он, глядя из своего окна (в тюрьме, куда привело Сада его несогласие с методами Террора) на действующую гильотину? Наконец, разве он не проливал “кровавых слез”, оплакивая утрату рукописи, на страницах которой пытался высказать — высказать другим людям — истину о том, что другая личность не имеет зна-

чения?\* Возможно, он рассуждал так: суть сексуальной привлекательности не может проявиться в полной мере, если другая личность берется в расчет и тем самым парализуется ее [телесное] воздействие. Сад неуклонно придерживался того, что открылось ему в нескончаемой тишине камеры, где с жизнью его связывали лишь образы вымышленного мира.

### Губительный беспорядок эротизма и “апатии”

Природа чрезмерности, с помощью которой Сад утверждал свою истину, такова, что не так-то легко заставить ее принять. Однако из утверждений, которые он нам предлагает, можно понять, что нежность ничего не меняет в механизме, связывающем эротизм со смертью. Эротическое поведение противоположно обыденному поведению так же, как трата противоположна накоплению. Если мы живем, повинаясь велениям рассудка, то пытаемся приобрести разного рода блага, работаем с целью приумножения наших ресурсов — или наших знаний, — стараемся любыми способами обогатиться и обладать все большим количеством [благ]. В принципе именно таково наше поведение в социальном плане. Но в минуту крайнего сексуального возбуждения мы ведем себя противоположным образом: мы без меры расходует наши силы и порой, в жестоком порыве страстей, без какой-либо пользы для себя растрачиваем значительные энергетические ресурсы. Сладострастие так близко

\* В “120 днях Содомы”, написанных в тюрьме, он впервые нарисовал картину высшей жизни, являющейся жизнью преступников, развратников, поглощенных криминальным сладострастием. Накануне 14 июля 1789 года, за то, что он пытался подстрекать к бунту прохожих, выкрикивая из окна своей камеры: “Парижане, заключенных режут!”, его перевели в другую тюрьму. Саду не позволили ничего взять с собой, и рукопись “120 дней” пропала во время разграбления, последовавшего за взятием Бастилии. Люди, рывшиеся в куче разнообразных вещей, валявшихся во дворе, подобрали то, что показалось им наиболее ценным. Рукопись всплыла около 1900 года у одного немецкого книготорговца; маркиз де Сад сам признался, что “пролил кровавые слезы” из-за потери, которая действительно больно ударила по другим, по человечеству вообще.

разорительному растрачиванию, что мы называем “малой смертью” момент, когда оно достигает своего пика. Соответственно, образы, воскрешаемые в памяти эротически чрезмерным, всегда пребывают в беспорядке. Нагота разрушает благопристойность, которую мы придаем себе при помощи одежды. Но, встав на путь сладострастного беспорядка, мы не удовлетворяемся малым. Нарастание присущей нам от рождения чрезмерности иногда сопровождается разрушением или предательством. Мы усиливаем эффект наготы странным видом полуодетых тел, и отдельные предметы одежды лишь подчеркивают “расстройство” чьей-либо плоти, становящейся тем более беспорядочной, чем выше степень обнаженности. Попытки и убийства продлевают этот губительный порыв. Подобным же образом проституция, бранные выражения и все то, что связывает эротизм с низменной сферой, способствуют превращению мира сладострастия в мир упадка и разрушения. Мы испытываем истинное счастье, лишь растрачивая силы впустую, как если бы мы бередили свою рану: нам постоянно нужно быть уверенными в бесполезности, иногда в разрушительном характере наших усилий. Мы хотим почувствовать себя как можно дальше от мира, где правилом является приумножение ресурсов. Но мало сказать — “как можно дальше”. Мы нуждаемся в опрокинутом мире, в мире наизнанку. Истина эротизма есть предательство.

Система Сада — это разрушительная форма эротизма. Нравственное одиночество означает снятие тормозов: оно придает глубинный смысл нашим затратам. Кто допускает ценность другой личности, непременно себя ограничивает. Уважение к другому затемняет суть дела и не позволяет оценить значение единственного не подчиненного потребности приумножения моральных или материальных ресурсов устремления. Ослепление, порожаемое уважительным отношением к другой личности, банально: обычно мы ограничиваемся краткими вы-

лазками в мир сексуальных истин, который в остальное время не может не быть открытым для опровержения этих истин. Солидарность со всеми остальными существами мешает человеку стать суверенным существом. Уважение человека к человеку перерастает в цикл рабства, где не остается ничего кроме иерархии подчинения, где в конце концов нам не хватает уважения, лежащего в основе нашего образа действий, поскольку мы вообще лишаем человека его высших проявлений.

В противоположном смысле “центр садовского мира”, по словам Мориса Бланшо, составляет “требование суверенности, утверждающей себя посредством безмерного отрицания”. Безудержная свобода открывает пустоту, в которой возможным становится самое необузданное влечение, пренебрегающее второстепенными порывами: своего рода циничный героизм освобождает нас от знаков уважения, ласк, без которых нам обычно нелегко терпеть друг друга. Подобные перспективы уведут нас так же далеко от того, чем мы являемся в повседневной жизни, как удалено величие бури от солнечного дня или от скуки пасмурного неба. В действительности же мы не располагаем тем избытком силы, без которого невозможно проникнуть туда, где осуществилось бы наше верховенство. Реальная суверенность, какой бы несоразмерной она ни виделась безгласным народам, в худшие свои моменты стоит гораздо ниже неистовства страстей, открывающегося нам в романах Сада. Сам же Сад не обладал, конечно, ни силой, ни дерзостью, необходимыми для достижения описанного им высшего состояния. Морис Бланшо определил это состояние, господствующее над всеми остальными, которое Сад называл апатией. “Апатия, — писал Морис Бланшо, — это дух отрицания в приложении к человеку, избравшему суверенность. В некотором роде это источник энергии и ее принцип. Похоже, Сад рассуждает таким образом: современный индивид обладает некоторым количеством силы; в большинстве случаев он распыляет свои силы,

отчуждая их в пользу тех видимостей, которые называются другими, Богом, идеалом; совершая подобное распыление, он допускает ошибку, так как исчерпывает свои возможности, неумно растрачивая их, но еще большую ошибку он допускает потому, что в основу своего поведения кладет слабость, ибо если он расходует себя для других, то [делает он это] оттого, что полагает, будто ему необходимо на них опереться. Роковая непоследовательность: он ослабевает, впустую растрачивая силы, и он растрчивает силы, потому что считает себя слабым. Но истинный человек знает о своем одиночестве и принимает это состояние; он отрицает все то, что, являясь наследием семнадцати веков трусости, соотносится в нем с другими, которые им не являются; к примеру, жалость, благодарность, любовь — все эти чувства он разрушает; разрушая их, он накапливает ту силу, которую ему понадобилось бы вложить в эти расслабляющие импульсы и, что гораздо важнее, он находит в этой разрушительной работе источник подлинной энергии. — На самом деле, следует, разумеется, понимать, что апатия не заключается только в разрушении “паразитических привязанностей”, но также в том, чтобы противостоять спонтанности какой бы то ни было страсти. Порочный человек, предающийся сиюминутному пороку, не более чем выродок, обреченный на гибель. Даже гениальных развратников, прирожденных стать чудовищами, если они будут просто поддаваться своим наклонностям, ожидает неминуемая катастрофа. Сад считает: чтобы страсть стала энергией, ее нужно опосредовать с помощью неизбежного момента бесчувственности; тогда она достигнет высочайшей степени. В начале ее карьеры Клервиль непрестанно упрекает Жюльетту: она способна совершать преступления, только ощущая воодушевление; она возжигает факел преступления, лишь воспламеняясь страстями; выше всего для нее сладострастие, кипение страстей. Опасное попустительство... Преступление важнее сладострастия; хладнокров-

ное преступление больше, нежели просто преступление, совершенное в состоянии аффекта; однако, преступление, “совершенное в очерствении сферы чувств”, преступление мрачное и затаенное, имеет наивысшее значение, ибо это — поступок души, которая, все разрушив в себе, накопила огромную силу, и последняя полностью отождествляется с порывом тотального разрушения, ею подготавливаемого. Все эти великие развратники, живущие одними удовольствиями, велики лишь потому, что они подавили в себе всякую способность к наслаждению. Вот почему они предаются чудовищным извращениям, в противном случае они удовлетворялись бы посредственностью обычных проявлений страсти. Но эти люди стали бесчувственными: они якобы наслаждаются своей бесчувственностью, отрицаемой уничтоженной ими чувствительностью, и становятся жестокими. Жестокость — это лишь отрицание себя, доведенное до той крайней степени, когда оно превращается в разрушительный взрыв; бесчувственность оборачивается содроганием всего существа. Сад утверждает: “душа приходит к своего рода апатии, которая преобразуется в удовольствия, в тысячу раз более божественные, чем те, которые доставляла им слабость”<sup>\*</sup>.

### Триумф смерти и страдания

Мне захотелось процитировать этот пассаж целиком: он проливает яркий свет на центральную точку, где бытие больше, чем обычное присутствие. Присутствие — это иногда упадок сил, нейтральный момент, когда бытие — это безразличие к бытию, уже переход к ничтожеству. Бытие — это также чрезмерность бытия, оно возвысилось до невозможного. Чрезмерное приводит к состоянию, когда, превосходя самое себя, сладострастие более не сводится к осязаемой данности, когда осязаемой данностью можно пренебречь и когда мысль (мен-

\* Морис Бланшо, цит. произв., с. 256-258.

тальный механизм), управляющая сладострастием, овладевает всем существом. Без такого крайнего отрицания сладострастие остается затаенным, презираемым, бессильным занять реальное место, высшее в процессе многократно умноженного сознания. “Я хотела бы, — говорит Клервиль, спутница Жюльетты по оргиям, — изобрести такое преступление, последствия которого сказывались бы даже тогда, когда я перестала бы действовать, чтобы в моей жизни не было ни одного мгновения, когда даже во сне я не была бы причиной какого-либо беспорядка, и чтобы этот беспорядок получил такое распространение, что повлек за собой всеобщее разложение или произвел бы расстройство столь значительное, чтобы и после моей смерти его воздействие не преклось”<sup>\*</sup>. Достижение подобной вершины невозможно, по правде сказать, чревато не меньшими опасностями, чем восхождение на вершину Эвереста, куда никому не удавалось добраться без невероятной концентрации энергии. Но напряжение сил, которого требует путь к вершине Эвереста, лишь отчасти отвечает желанию в чем-то превзойти остальных. Исходя из принципа отрицания другой личности, вводимого Садом, мы замечаем странный факт: на вершине безграничного отрицания другой личности означает отрицание самого себя. Отрицание другого было в своей основе утверждением себя, но очень быстро стало ясно, что его неограниченный характер, доведенный до крайнего предела возможного, превосходящий личное наслаждение, граничит с поиском суверенности, свободной от всяческих колебаний. Стремление к могуществу заставляет реальную (историческую) суверенность отступить. Реальная суверенность это не то, чем она стремится быть, это всегда лишь усилие, имеющее целью освобождение человеческого существования от рабского подчинения необходимости. Кроме всего прочего, историческому

\* Цит. произв., с. 244.

правителю удавалось избежать велений необходимости. Он избегал этого в наивысшей степени с помощью могущества, которым наделяли его его верноподданные. Взаимная зависимость монарха и подданных покоилась на подчинении подданных и на принципе их участия в верховной власти. Но высший человек Сада не обладает реальной суверенностью, это — вымышленный герой, могущество которого не ограничено никакими обязательствами. Так что зависимости, за которую держался бы этот суверенный человек, по отношению к тем, кто дает ему его могущество, [этой зависимости] более не существует. Свободный перед другими, он, тем не менее, — жертва своей собственной суверенности. Он не волен в том, чтобы принять рабство, в которое превратилась бы погоня за ничтожными плотскими удовольствиями, он не волен преступать закон! Примечательно следующее: исходя из полной свободы от обязательств, Сад все же не приходит к суровости. Он стремится только к достижению наивысшего наслаждения, но это наслаждение означает отказ от подчинения жалким удовольствиям, означает отказ преступать! Обращаясь к другим, к читателям, Сад описал вершину, которой может достичь суверенность: процесс нарушения не остановится, пока не достигнет своего пика. Сад не избежал этого движения, он проследил его последствия, превосходящие изначальный принцип отрицания других и утверждения себя. Отрицание других, доведенное до крайности, становится отрицанием самого себя. В этом безжалостном порыве личное наслаждение уже не принимается в расчет, единственное, что имеет значение, — это преступление, и неважно, кто его жертва, важно только то, чтобы преступление достигло своего пика. Это внешнее по отношению к индивиду требование ставит порыв, приведенный им самим в движение, отделяющийся от него и его превосходящий, выше индивида. Сад неизбежно приводит в действие, выводя его за пределы личного эгоизма, эгоизм в некотором роде без-

личный. Мы не должны отдавать миру возможного то, что тот постигает лишь благодаря вымыслу. Но мы осознали, что для него оказалось необходимым, несмотря на его принципы, связать с трансгрессией<sup>3</sup> преодоление личного бытия. Вряд ли есть что-либо более впечатляющее, чем переход от эгоизма к стремлению, в свою очередь, быть истребленным в пылающем костре, разожженном эгоизмом. Сад наделил этим высшим порывом одного из своих самых совершенных персонажей.

Амелия живет в Швеции, в один прекрасный день она встретит Боршана... Последний, в предвкушении чудовищной казни, только что выдал королю всех членов заговора, который он сам и организовал, и его предательство привело молодую женщину в восторг. “Я обожаю твою жестокость, — говорит она Боршану. — Поклянись, что однажды я также стану твоей жертвой. С пятнадцати лет мой ум воспламенялся при одной мысли, что я могу погибнуть, став жертвой жестокого разврата. Разумеется, я не хотела бы умереть завтра же: моя прихоть не заходит так далеко; но я хочу умереть только так, чтобы, погибая, стать причиной преступления — эта мысль способна вскружить мне голову”. Странная голова, вполне достойная такого ответа: “Я безумно люблю твою голову, и я думаю, что вместе мы совершим еще немало славных дел... Допускаю, она прогнила, разложилась!”. Таким образом, “для цельного человека, который является всем человеком, не существует зла. Если он причиняет зло другим людям — какое сладострастие! Если другие причиняют ему зло — какое наслаждение! Добродетель доставляет ему удовольствие, ибо она беззащитна, и он может ее раздавить, а порок — потому что беспорядок, из него проистекающий, приносит удовлетворение, даже если это и наносит ему ущерб. Если он живет, то в его существовании нет такого события, которое он не мог бы переживать как счастливое. Если он умирает, то получает от своей смерти еще боль-

шее наслаждение, а в осознании своего разрушения состоит венец жизни, которую оправдывает одна только потребность все истребить. Так, отрицающий человек является в мире как бы носителем крайнего отрицания всех и вся, и в то же самое время он не может избежать последствий этого отрицания. Разумеется, сила отрицания, пока оно имеет место, дает некое преимущество, но совершаемое им отрицающее действие — единственная защита от нестерпимой остроты безмерного отрицания”<sup>\*</sup>.

Отрицания безличного, преступления безличного!

Их смысл отсылает нас по ту сторону смерти, к непрерывности бытия!

Суверенный человек Сада не предлагает нашему убогому существованию реальность, которая бы его трансцендировала. По крайней мере, в своем отклонении от нормы он стал открытым для непрерывности преступления. Эта непрерывность ничего не трансцендирует: она не превосходит того, что обречено на гибель. Однако в образе Амелии Саду удалось совместить бесконечную непрерывность с бесконечным разрушением.

## Симона де Бовуар *Нужно ли аутодафе?*<sup>1</sup>

### 1

“Властный, холеричный, раздражительный, доходящий до крайности во всем — в атеизме и в распутстве... Вам удалось запереть меня в этой клетке, но убейте меня или принимайте таким, каков я есть, потому что изменить меня вам не удастся”.

Они предпочли его убить: сначала скукой тюрьмы, потом нищетой и, наконец, забвением. Этой последней смерти он желал сам: “...следы моей могилы исчезнут с лица земли, как и память обо мне, я уверен, уйдет навсегда из людских умов”. Это желание было исполнено. Память о Саде была погребена под грузом многочисленных домыслов и легенд, само его имя запятнано такими словами, как “садизм” и “садистский”, его дневниковые записи потеряны, рукописи сожжены. Хотя в конце XIX в. несколько пытливых умов, в том числе Суинберн, проявили к нему интерес, только Аполлинер вернул ему место во французской литературе. Однако, до официального признания еще далеко. Вы можете пролистать объемистые труды “Идеи XVIII века” или даже “Чувствительность в XVIII веке” и не встретить ни одного упоминания его имени. Вполне очевидно, что именно в ответ на это умолчание почитатели Сада объявили его пророком, предтечей Ницше, Штирнера и Фрейда. Но этот культ “божественного маркиза”, основанный, как и все культы, на ложных представлениях, служит только его предательству. Критиков, которые относятся к Саду не как к злодею или идолу, а как к человеку и

\* Цит. произв., с.236-237.

писателю, можно пересчитать по пальцам. Именно благодаря им произошло возвращение Сада.

Однако каково же его истинное место? Почему это имя заслуживает нашего интереса? Даже его поклонники признают, что произведения Сада по большей части нечитабельны. В отношении [содержащейся в них] философии они не банальны только в силу ее непоследовательности. А что до его грехов, то они не так уж оригинальны: в этой области Сад не изобрел ничего нового. В учебниках психиатрии описано множество не менее интересных случаев. Дело в том, что Сад заслуживает внимания не как сексуальный извращенец и не как писатель, а по причине взаимозависимости этих двух сторон его личности. Его отклонения от нормы приобретают ценность, когда он разрабатывает сложную систему их оправдания. Сад пытался представить свою психо-физиологическую природу как результат сознательного этического выбора. В этом акте заключено стремление преодолеть свою отделенность от людей и, может быть, просьба о помиловании. Именно поэтому его судьба и творчество приобретают глубокий общечеловеческий смысл. Можем ли мы существовать в обществе, не жертвуя своей индивидуальностью? В случае Сада индивидуальность доведена до предела, а его литературные усилия ясно свидетельствуют о том, насколько страстно он желал быть признанным обществом. Таким образом, в его книгах отражена крайняя форма конфликта человека и общества, в котором индивидуальность не может уцелеть, не подавляя себя.

Для того, чтобы понять развитие личности де Сада, оценить роль свободного выбора и предначертанности в его судьбе, было бы полезно располагать точными сведениями биографического характера. К несчастью, несмотря на усилия биографов, обстоятельства жизни и, тем более, черты характера Сада трудно воссоздать достаточно подробно. У нас нет даже его портрета, а описания его внешности современниками очень скупы, и по

ним вряд ли возможно представить себе конкретный человеческий облик. Говорят, что описание шестидесятилетнего Сада Шарлем Нодье напоминает стареющего Оскара Уайльда и Робера де Монтескье<sup>2</sup>, хочется видеть в Саде и черты барона де Шарлю. Особенно огорчает недостаток сведений о детстве Сада. Если принять описание детства Валькура за автобиографический набросок, Саду в раннем детстве пришлось столкнуться с тяжкими обидами и несправедливостью. Позже, воспитываясь вместе с Луи-Жозефом де Бурбоном, он, по-видимому, настолько яростно и грубо защищался от эгоизма и высокомерия юного принца, что его пришлось удалить от двора. Нам неизвестно ничего достойного внимания ни о годах его учения, ни о пребывании в армии, ни о первых годах его светской жизни. Можно попытаться воссоздать его жизнь по его книгам, как это сделал Пьер Клоссовски, который видит ключ к судьбе и творчеству Сада в его непримиримой ненависти к матери. Как бы то ни было в действительности, хотя отношения с родителями наверняка играли весьма существенную роль в формировании его характера и мировосприятия, детали нам неизвестны. Мы встречаем Сада уже в зрелом возрасте и можем отметить только большую эмоциональность и необычный характер его сексуальности. Из-за этого биографического пробела вся правда о его личности навсегда останется недоступной, любые объяснения будут иметь темные места, которые могла бы прояснить только история раннего детства Сада.

Однако, как мы уже говорили, основной интерес для нас заключен не в аномальности натуры Сада и не в причинах ее формирования, а в его манере нести за нее ответственность. Он сделал из своей сексуальности этику, этику он выразил в литературе, и именно это сообщает ему истинную оригинальность. Причины его странных вкусов непонятны, но мы можем понять, как он возвел эти вкусы в принцип, и почему он довел их до фанатизма.

По внешним проявлениям двадцатитрехлетний Сад мало чем отличался от многих молодых аристократов того времени: он был культурен, любил книги, театр и искусство. Он славился расточительностью, содержал любовницу и часто посещал бордели. Он женился по настоянию родителей на Рене-Пелажи де Монтрей, не принадлежавшей к кругу высшей аристократии, но имевшей хорошее приданое. Это было началом бедствий, преследовавших его всю дальнейшую жизнь. Женившись в мае, Сад уже в октябре был арестован из-за эксцесса в публичном доме, который он регулярно посещал. Причина ареста была, по-видимому, достаточно серьезной, потому что Сад слал многочисленные письма начальнику тюрьмы, умоляя держать ее в секрете, иначе вся его жизнь будет непоправимо испорчена. Это обстоятельство заставляет предполагать, что эротизм Сада уже принял весьма компрометирующую форму, тем более, что спустя год инспектор Марэ разослал письменное предупреждение содержательницам публичных домов о нежелательности маркиза в качестве клиента.

Все эти факты имеют не только информативную ценность, они связаны с одним очень важным моментом: в самом начале самостоятельной жизни Сад получает жестокое свидетельство того, что его личные удовольствия практически несовместимы с общественной жизнью.

В молодом Саде не было ничего от революционера или бунтаря. У него не было ни малейшего желания отвергать привилегии, дарованные ему происхождением, положением в обществе и богатством жены. Однако общественная деятельность, ответственность, почести, роль мужа, отца, хозяина поместья не могли принести ему полного удовлетворения. Он хотел быть не только общественной фигурой, чьи действия строго регламентированы законом, условностями и заведенным порядком, но и живым человеческим существом.

Существовала идея, общая для большинства аристократов поколения Сада. Потомки идущего к упадку клас-

са, некогда обладавшего всей полнотой реальной власти, они пытались символически, в обстановке спальни, воскресить статус суверенного феодала-деспота. Сад не был исключением и также жаждал иллюзорной власти. “Чего хочет человек, совершающий половой акт? Того, чтобы все внимание было отдано только ему, все мысли и чувства были направлены на него одного. Любой мужчина жаждет быть тираном, когда совокупляется”. Опьянение тиранством прямым путем ведет к жестокости; распутник, мучающий партнера, “вкушает все удовольствия, которые сильная натура находит в полном проявлении своей силы; он доминирует, он — тиран”. Лишь в одном месте Сад мог реализовать себя в этом смысле, и этим местом была не супружеская спальня, где его покорно встречала не в меру стыдливая жена, а бордель, где он за деньги получал право воплотить в жизнь свои фантазии.

На самом-то деле, отхлестать плеткой (по предварительно заключенному соглашению) нескольких проституток — не бог весть какой подвиг. И то, что Сад наполняет его таким значением, наводит на определенные подозрения. Ведь за пределами “своего маленького приюта удовольствий” ему и в голову не приходит “полностью проявить свою силу”. В нем нет ни тени амбиции, притязаний, предприимчивости, стремления к власти, и я вполне готова допустить, что он был трусом. Сад систематически наделяет своих героев чертами, которые общество расценивает как пороки. Именно таким героем является де Бланжи, но автор рисует его с удовольствием, заставляющим предполагать, что это в какой-то степени его собственное изображение. Чрезвычайно похожа на признание следующая характеристика де Бланжи: “Смелый ребенок мог привести этого гиганта в состояние панического ужаса. ... он становился робким и трусливым, и при одной только мысли об участии в самой безобидной схватке, но на равных с противником, обратился бы в бегство на край света”. То обстоятельст-

во, что временами Сад был способен на своеобразную смелость, ничуть не наносит ущерба гипотезе о том, что он боялся людей, а в более широком смысле, боялся реальности мира.

Он так много говорил о силе своего духа не потому, что ею обладал, а потому, что хотел бы ею обладать. Сталкиваясь лицом к лицу с несчастьем, он начинал хныкать, впадал в уныние и бывал полностью деморализован. Страх перед нищетой, который постоянно его преследовал, был симптомом более глобального беспокорства. Он никому не доверял, потому что сам был ненадежен. Его поведение было беспорядочным и непоследовательным. Он залезал в долги, он приходил в беспричинную ярость, он мог сбежать или пойти на уступки в самый неподходящий момент. Он постоянно попадался во все расставляемые ему ловушки. Его не интересовал этот скучный и одновременно угрожающий мир, который не мог предложить ему ничего ценного. Он подчиняет все свое существование эротике, потому что она кажется ему единственным возможным смыслом существования. Но если он посвящает себя ей с такой энергией, настойчивостью, с таким бесстыдством, то потому только, что это дает ему возможность сплетать вокруг акта удовольствия сеть бесконечных фантазий, которые на самом деле имеют для него большую ценность, чем этот акт как таковой. Сад предпочел реальному миру мир воображаемый.

Вначале Сад, вероятно, считал, что находится в безопасности в этой стране призрачного счастья, которая, как ему казалось, была отделена непроницаемой стеной от мира ответственности. Если бы не разразился скандал, он, вероятно, стал бы самым обычным распутником, известным в определенных местах некоторыми специфическими вкусами. Но в его случае скандал был, по-видимому, неизбежен, и вряд ли виной тому была простая неосторожность. Может быть, в силу особенностей своей психологии Сад мог получить действительное

удовлетворение от своих тайных триумфов только выставив их на всеобщее обозрение, сделав их явными. Тем не менее, играя с огнем, он ощущал себя хозяином положения. Но общество, стремящееся к безраздельному господству над личностью, терпеливо выжидало. Оно цепко ухватило за его тайну и классифицировало ее как преступление.

Первыми реакциями Сада были стыд и раскаяние. Он просил свидания с женой, потребовал исповеди и открыл сердце священнику. Все это не было простым лицемерием. Вероятно, он с детства был знаком с горечью и болью угрызений совести, и скандал 1763 г. драматически вернул их к жизни. Один день внезапно перевернул все: естественные, невинные шалости, служившие, тем не менее, источником большого удовольствия, превратились в действия, подлежащие наказанию, а очаровательный молодой человек — в преступника. Сад почувствовал, что до конца своих дней может остаться изгоем: он слишком ценил своих развлечения, чтобы хоть на минуту представить, что от них можно отказаться. Вместо этого он решил избавиться от чувства вины, бросив вызов обществу. Примечательно, что первая его преднамеренно скандальная демонстрация имела место сразу после освобождения из тюрьмы. Он приехал в замок Ла Кост в сопровождении любовницы, которая под именем мадам де Сад пела и плясала перед знатью Прованса, а аббат де Сад<sup>3</sup> был вынужден присутствовать при этом представлении.

Близкое общение с женой явственно показало Саду, как пресна и скучна добродетель, и он восставал против добродетели со всем отвращением, которое только может испытывать существо из плоти и крови. Но та же Рене-Пелажи предоставила ему прекрасную возможность попираť Добро в его конкретной, облеченной в плоть форме. Жена не была для него врагом, но, как все жены, она автоматически оказывалась в роли добровольной жертвы и союзницы. Отношения де Сада с мар-

кизой, вероятно, нашли почти точное отражение в его описании взаимоотношений Бламона с его женой. Бламон находит особое удовольствие в том, чтобы необыкновенно нежно обращаться с ней именно в те моменты, когда лелеет в уме самые черные замыслы. Нанести удар, когда от тебя ожидают наслаждения — в этом может заключаться одно из сладчайших проявлений воли тирана, и Сад понял это за сто пятьдесят лет до появления на свет первых психоаналитиков. Мучитель, загроможденный под влюбленного, наслаждается при виде жертвы, преисполненной любви и благодарности, принимающей жестокость за проявления ответной любви. Несомненно, именно возможность совмещения небольших удовольствий подобного рода с выполнением социального долга позволила Саду иметь от своей жены троих детей.

Он с радостью мог наблюдать, как добродетель становится союзницей и прислужницей порока. Мадам де Сад в течение многих лет покрывала проступки и преступления мужа, она проявила незаурядную смелость, организовав его побег из тюрьмы, она поощряла его интригу со своей сестрой, оргии в замке Ла Кост происходили при ее поддержке. Она зашла настолько далеко, что скомпрометировала себя, подложив серебро в вещи горничной, чтобы дискредитировать ее обвинения против маркиза. Сад не испытывал ни малейшей благодарности, одно упоминание о таком человеческом качестве, как благодарность, приводило его в ярость. Однако вполне возможно, что он чувствовал к жене своеобразное расположение, свойственное отношению деспота к своей безупречной собственности.

Если Рене-Пелажи олицетворяла собой несомненный успех Сада, то мадам де Монтрей, теща, стала воплощением его поражения. Она была представительницей абстрактной и универсальной справедливости, неизбежно противостоящей индивидуальности. В лице мадам де Монтрей враждебное общество вторглось в его дом, и

напор был так силен, что Саду пришлось отступить. Вина виновным человек может стать только будучи обвинен. Теща обвинила его и таким образом сделала из него преступника. Вот почему мадам де Монтрей в разных обликах постоянно появляется на страницах его произведений, где ее можно высмеять и уничтожить. Расправляясь с ней, он расправлялся со своей собственной виной.

В конце концов Сад был побежден своей тещей и законом, но он и сам внес немалый вклад в свое поражение. Каковы бы ни были роль случая и его собственной неосмотрительности в первом скандале, несомненно, впоследствии он стал находить в риске и опасности источник дополнительного удовольствия. Не случайно он выбрал день Пасхи, чтобы заманить к себе в дом нищенку Розу Келлер. Она выбежала оттуда полураздетая, избитая и смертельно испуганная, и за это новое оскорбление общественной нравственности Сад заплатил двумя короткими сроками тюрьмы. Последовавшие за ними три года ссылки он провел в своем поместье в Провансе, и казалось, что он успокоился. Он старательно разыгрывал роль мужа и хозяина дома, производя на свет двух детей и принимая у себя цвет соманского общества. Он много читал и ставил пьесы в домашнем театре, одну — собственного сочинения. Но примерное поведение не принесло ему ожидаемой награды, и в 1771 г. он снова оказался в тюрьме, на этот раз за долги. После освобождения его тяга к добродетели заметно уменьшилась. Он совратил свою юную свояченицу. Она была канониссой, девственницей и сестрой жены — все это придавало особую пикантность приключению. Однако он не оставил своих прежних привязанностей и продолжал посещать бордели, демонстрируя там свои специфические наклонности. Вскоре дело приняло неожиданый и угрожающий оборот. Маркиз сбежал в Италию со свояченицей, а в это время он и его слуга Латур были приговорены к смерти *in absentia*<sup>4</sup> и преданы сим-

волической казни на городской площади в Эксе. Канонисса нашла убежище в одном из французских монастырей, где и провела остаток жизни, а Сад укрылся в Савойе. Его поймали и заключили в замок Миолан, откуда он спасся с помощью жены. Отныне он стал человеком, подлежащим преследованию, и отдавал себе отчет в том, что ему никогда не позволят вернуться к нормальной жизни. Тем больше усилий он приложил, чтобы реализовать свои мечты о другой жизни, свои эротические фантазии. При содействии жены он собрал в замке Ла Кост коллекцию из нескольких красивых лакеев, секретаря — неграмотного, но весьма привлекательного молодого человека, — соблазнительной кухарки, горничной и двух молоденьких девушек, доставленных своднями. Но Ла Кост не был неприступной цитаделью, изолированной от социальной атмосферы, и Сад потерпел очередное фиаско. Девицы в ужасе сбежали, горничная родила ребенка, чье отцовство она приписывала Саду, отец кухарки пытался его застрелить, а красавца-секретаря родители забрали домой.

Сад уехал в Италию, но мадам де Монтрей, которая не могла простить ему падения младшей дочери, приложила некоторые усилия, и после ряда приключений с побегами и погонями 7 сентября 1778 г. Сад оказался в Венсенне, “запертый в клетке, как дикий зверь”.

С этого момента начинается другая история. В течение одиннадцати лет, сначала в Венсенне, а потом в Бастилии, погибает человек, но рождается писатель. Человек был сломлен очень быстро. Обреченный на половое воздержание, не знающий, как долго продлится заключение, Сад несколько повредился в рассудке. Однако спустя некоторое время интеллектуальные способности к нему вернулись, а сексуальный голод он компенсировал радостями обильного стола. Его слуга рассказывал, что маркиз дымил как печная труба и ел за четверых. Экстремист во всем, он стал обжорой. Мадам де Сад ежедневно посылала ему горы снеди, и вскоре он

достиг невероятной толщины. Он непрерывно жаловался на судьбу, обвиняя всех и во всем, умолял о прощении и слегка развлекался, продолжая терзать жену. Он имел наглость проявлять ревность, приписывал ей всевозможные козни против себя и находил, что для столь трагических обстоятельств маркиза недостаточно скромно одевается. В 1782 г. он пришел к выводу, что отныне только литература будет наполнять его жизнь “восторгом, вызовом, искренностью и уладами воображения”. Его экстремизм сказался и здесь: он писал лихорадочно, неистово и чрезвычайно много, писал, одновременно поглощая немислимые количества пищи.

Когда в 1790 г. Сада выпустили на свободу, он мог надеяться и надеялся, что в его жизни начинается новый период. Жена, наконец, просила развода, дети были ему абсолютно чужими. Освободившись от семьи, Сад, которого старое общество сделало изгоем, попытался приспособиться к новому, которое вернуло ему достоинство гражданина. Пьесы Сада ставились в театре, одна из них даже имела большой успех. Он сочинял речи в честь Республики, был назначен на официальный пост и с энтузиазмом подписывал петиции.

Но его роман с Республикой продолжался недолго. Мир, к которому он пытался приспособиться, снова оказался слишком реальным, и им управляли те же универсальные законы, которые Сад считал фальшивыми и несправедливыми. Когда общество узаконило убийство, Сад в ужасе отшатнулся. Читатель, удивляющийся тому, что Сад дискредитировал себя в глазах Революции гуманностью, вместо того, чтобы искать место губернатора в провинции и безнаказанно мучить и убивать людей, не понимает его по-настоящему. Пролитие крови могло служить для него источником особого возбуждения, но лишь при определенных обстоятельствах. Он ничто так не ненавидел в старом обществе, как его право судить и наказывать, право, жертвой которого стал он сам, он не мог с сочувствием отнестись к массовому тер-

рору. Вот почему Сад в качестве главного присяжного чаще всего оправдывал обвиняемого. Он держал в своих руках судьбу семьи мадам де Монтрей, но не захотел мстить ей с помощью закона. В декабре 1793 г. он был заключен в тюрьму по обвинению в умеренности. Освободившись через год, он с отвращением писал: “Республиканская тюрьма с ее вечной гильотиной перед глазами нанесла мне в сто раз больше вреда, чем все Бастилии вместе взятые”. Зло перестало быть для него притягательным, когда преступление было объявлено узаконенной добродетелью, и хотя сексуальность Сада с годами не уменьшилась, гильотина уничтожила болезненную поэтику извращенного эротизма. Сад все еще пытался оживить свой прежний опыт и прежние мечты в книгах, но он перестал в них верить. Он не потерял памяти, но утратил движущую силу, и сама жизнь стала для него слишком тяжелым грузом. Он влачил жалкое существование в нищете и болезнях и работал в версальском театре за сорок су в день.

Декрет от 28 июня 1799 г., причисливший его имя к списку аристократов, подлежащих изгнанию, заставил его воскликнуть в отчаянии: “Смерть и нищета — вот моя награда за преданность Республике!”. Он получил все же право гражданства, но к началу 1800 г. оказался в версальской больнице, “умирающий от голода и холода”, под угрозой нового тюремного заключения за долги. Он был столь несчастлив во враждебном мире так называемых “свободных людей”, что, может быть, сам стремился к одиночеству и безопасности тюрьмы. Сознательное или невольное, это желание было исполнено. 5 апреля 1801 г. его помещают в приют Сент-Пелажи, а потом переводят в Шарантон, куда за ним едет мадам Кенэ, которую он называет в письмах “Чувствительной Дамой” — единственная привязанность его последних лет. Конечно, оказавшись взаперти, Сад протестовал и пытался бороться за свободу. Но, по крайней мере, он снова смог полностью посвятить себя страсти, заменив-

шей ему чувственные удовольствия — писательству. Он гулял по парку с “Чувствительной Дамой”, писал комедии для обитателей приюта и ставил их на сцене. Он даже согласился сочинить дивертисмент по случаю посещения Шарантона архиепископом парижским. Его представления о жизни не изменились, но он устал от борьбы. Шарль Нодье пишет: “Он был вежлив до приторности, грациозен до нелепости и с почтением говорил обо всем, о чем принято говорить с почтением”. Мысли о старости и смерти доводили его до состояния самого неподдельного ужаса, он падал в обморок при виде своих седых волос. Однако, смерть его была мирной. Он умер 2 декабря 1814 г. от астматического приступа.

## 2

Сад сделал эротизм единственным смыслом и выражением всего своего существования, поэтому исследование природы его сексуальности имеет несравненно более важное значение, чем удовлетворение праздного любопытства.

Совершенно очевидно, что он имел выраженные сексуальные идиосинкразии, но дать им определение довольно сложно. Его сообщники и жертвы хранили молчание, его частные записи утеряны, письма писались с предосторожностями, а в книгах больше фантазии, чем правды. Тем не менее, в его романах существуют ситуации и герои, которые явно пользуются его особым расположением. Именно они дают ключ к пониманию особенностей психологии автора.

В первую очередь в книгах Сада бросается в глаза именно то, что традиционно ассоциируется с его именем и словом “садизм”. Он избивал Розу Келлер плеткой, наносил ей раны ножом и лил на них расплавленный воск. В марсельском публичном доме Сад вынимал из кармана девятихвостую “кошку”, утыканную булавками. Все его поведение по отношению к жене демонстри-

рует исключительную душевную жестокость. Он постоянно твердил об удовольствии, которое можно получить, заставляя людей страдать: “Нет никакого сомнения, что чужая боль действует на нас сильнее, чем наслаждение; она заставляет все наше существо сладостно вибрировать”. Дело в том, что в основе всей сексуальности Сада, и, далее, в основе его этики лежит оригинальное интуитивное представление об идентичности актов соития и жестокости. В письмах есть доказательства того, что его собственный оргазм был похож на эпилептический припадок, был чем-то агрессивным и убийственным как взрыв ярости. Чем можно объяснить эту странную ярость?

С раннего отрочества Сад, очевидно, испытывал постоянные, если не невыносимые, муки желания. Однако опыт эмоционального опьянения был, по всей вероятности, ему совершенно недоступен. В его книгах чувственная радость никогда не бывает связана с самозабвением, духовным порывом. Герои Сада ни на минуту не теряют своей животной сущности и одновременно рассудочности. Желание и наслаждение создают кризис, который разрешается чисто телесным взрывом. Истоки садизма находятся в попытке каким-либо способом компенсировать один необходимый и недостающий элемент — эмоциональное опьянение, которое позволяет партнерам достигнуть единства. Проклятием, всю жизнь тяжким грузом лежащим на Саде, была именно его “отделенность”, которая не давала ему ни забыть себя, ни по-настоящему ощутить реальность партнера. Корни этой “отделенности” следует искать в детстве Сада, о котором мы почти ничего не знаем. Если бы он при этом был холоден от природы, не возникло бы никаких проблем, но его инстинкты неудержимо влекли его к другим людям, а возможности соединиться с ними он не имел. Ему приходилось изобретать методы, чтобы создать иллюзию этого соединения. Сад знал, что получение удовольствия может быть связано с актом агрессии, и его стрем-

ление к тиранической власти над объектом наслаждения иногда принимало именно такой характер. Однако и это не могло принести ему полного удовлетворения.

Если поставлена цель спастись от себя и почувствовать реальность партнера, можно попытаться достигнуть ее и другим путем — через боль собственной плоти. В борделе Сад испытывал действие плетки не только на девицах, но и на себе самом. Это было, по-видимому, весьма обычной для него практикой, и его герои ей также не пренебрегают: “...никто ныне не сомневается, что удары бича чрезвычайно эффективны в оживлении силы желания, истощенного наслаждением”. Однако Сад не был мазохистом в обычном понимании этого термина. Необычным в его случае было напряжение сознания, наполняющего плоть, но не растворяющегося в ней. Он заставлял проститутку хлестать его плеткой, но при этом каждые две минуты вставал и записывал, сколько ударов он получил. Его желание боли и унижения могло существовать только как единое целое с желанием унижать и причинять боль. Он избивал девицу, в то время как над ним самим совершали акт содомии. Самой его заветной мечтой было пребывание в роли мучителя и жертвы одновременно.

Был ли Сад содомитом? Его внешность, роль, выполняемая его лакеями, значительное место, которое он отводит этой “фантазии” в своих произведениях, и страсть, с которой он ее защищает, не оставляют на этот счет никаких сомнений. Несомненно, женщины играли большую роль в его жизни, но подробности его чисто физиологических отношений с ними нам неизвестны. Примечательно, что из двух единственных свидетельств его сексуальной активности отнюдь не следует, что Сад вступал с партнершей в “нормальное” соитие. Если он имел детей от мадам де Сад, то это было связано с необходимостью выполнения социального долга. А принимая во внимание групповой характер развлечений в

замке Ла Кост, мы не можем с уверенностью считать, что именно он был отцом ребенка горничной.

Разумеется, нет оснований приписывать Саду мнения, высказываемые убежденными гомосексуалистами его романов, но фраза, вложенная в уста Епископа в “120 днях Содома”, достаточно близка ему по духу, чтобы звучать как признание: “Мальчик гораздо лучше девочки. Рассмотрим вопрос с точки зрения зла, поскольку зло почти всегда есть истина наслаждения и его главное очарование. Преступление должно казаться большим, когда совершается над существом, подобным тебе самому, и от этого удовольствие удваивается”. В соответствии с какой-то своеобразной диалектикой, Сад в своих книгах часто отводит женщинам место победительниц, одновременно испытывая к ним отвращение и презрение. Возможно, эти чувства были вызваны к жизни его отношениями с матерью и ненавистью к теще. Можно предположить также, что он ненавидел женщин потому, что видел в них скорее своих двойников, чем дополнение, и поэтому ничего не мог от них получить. В его героинях больше жизни и тепла, чем в героях, не только по эстетическим соображениям, а потому что они были ему ближе. Сад ощущал свою женственность, и женщины вызывали его негодование тем, что не были самцами, которых он в действительности желал.

Я уже говорила о том, что рассматривать странности Сада только как факты, значит придавать им неверное значение. Они прочно связаны с его этикой. После скандала 1763 г. особенности эротики Сада перестали быть его личным делом — они превратились в проявление противостояния обществу. В письме к жене Сад объясняет, как он возвел свои вкусы в принципы: “Я довел эти вкусы до степени фанатизма, и это дело рук моих преследователей”. Сад получил мощную движущую силу своей сексуальной активности — стремление к преднамеренному злу. Поскольку общество в союзе с природой расценило его удовольствия как преступление, он сде-

лал само преступление источником удовольствия: “Преступление — душа похоти. Чем бы было наслаждение, не будь оно преступлением? Нас возбуждает не объект распутства, а идея зла”. Совершал ли он зло, чтобы почувствовать себя виновным или спасался от чувства вины, совершая зло? Дать ответ на этот вопрос означало бы исказить черты личности, которая никогда не знала покоя и вечно металась между гордыней и раскаянием.

### 3

Литература дала Саду возможность освободить и утвердить его мечты. Его литературная деятельность стала актом демонизма, запечатлев преступные, агрессивные видения и сделав их достоянием публики. Это придает его произведениям несравненную ценность. Казалось бы, удивительно, что человек, который так все время отстаивал свое право на независимость от общественной морали и подчеркивал свою уникальность, проявил такое яростное стремление к коммуникации. Но в Саде не было ничего от мизантропа, ненавидящего людей и предпочитающего общество животных и девственной природы. Отделенный от людей непреодолимой преградой — особенностями психики — он, тем не менее, жаждал единения с ними. И это могла дать ему литература.

В 1795 г. он писал: “Я готов к тому, чтобы выдвинуть несколько глобальных идей. Их услышат, они заставят задуматься. Если не все из них окажутся приятными, а я уверен, что большинство покажется отвратительными, — что ж, я внесу свой вклад в прогресс нашего века и буду этим удовлетворен”. Его искренность была неразрывно связана с бесчестностью. Беззастенчиво признаваясь в своих пороках, он оправдывал себя. Все, что он писал, является отражением двойственности его отношения к миру и людям.

Еще более удивителен избранный им способ выражения своих идей. От человека, который так ревниво куль-

тивировал собственную неповторимость, можно было бы ожидать столь же индивидуальной формы самовыражения, вспомним хотя бы Лотреамона. Но XVIII век не мог предоставить Саду таких лирических возможностей — время проклятых поэтов еще не пришло. Сам он ни в коей мере не обладал литературной смелостью. Настоящий творец должен — по крайней мере, на определенном уровне и в определенный момент творчества — освободиться от груза наследия и подняться над современниками в полном одиночестве. Но в Саде была внутренняя слабость, которую он пытался скрыть под маской самонадеянности. Общество поселилось в его душе под видом чувства вины. У него не было ни времени, ни средств заново создавать человека, мир, себя самого. Он слишком спешил защитить себя. Вместо того, чтобы самоутвердиться, Сад оправдывался, и для того, чтобы быть понятым, он использовал доктрины современного ему общества. Будучи порождением века рационализма, он ничто не мог поставить выше разума. С одной стороны, он писал, что “всеобщие моральные принципы — не более, чем пустые фантазии”, а с другой, он охотно подчинялся принятым эстетическим концепциям и вере в универсальность логики. Это объясняет как его идеи, так и его творчество. Он оправдывал себя, но все время просил о прощении. Его труды — проявление двусмысленного желания довести преступление до предела и одновременно снять с себя вину.

То, что излюбленным литературным жанром Сада была пародия, естественно и в то же время любопытно. Он не пытался создать новый мир, ему достаточно было высмеять, имитируя его, тот, который был ему навязан. Он притворялся, что верит в населяющие этот мир призраки: невинность, доброту, великодушие, благородство и целомудрие. Когда он елеяно живописал добродетель в “Алине и Валькуре”, “Жюстине” или “Преступлениях из-за любви”, им двигал не только расчет. “Покровы”, которыми он окутывал Жюстину, были не просто

литературным приемом. Чтобы получить удовольствие от бедствий добродетели, необходимо изобразить ее достаточно правдиво. Защищая свои книги от упреков в безнравственности, Сад лицемерно писал: “Можно ли льстить себя надеждой, что добродетель представлена в выгодном свете, если черты окружающего ее порока обрисованы без должной выразительности?”. Однако он имел в виду совсем другое: может ли порок возбуждать, если читателя прежде не заманить иллюзией добра? Дуррачить людей еще приятнее, чем шокировать. И Сад, плетя свои сладкие округлые фразы, испытывает от мистификации острое наслаждение. Его стиль нередко отличает та же холодность и та же слезливость, что и нравоучительные рассказы, послужившие ему образцом, а эпизоды разворачиваются в соответствии с теми же унылыми правилами.

И все-таки именно в пародии Сад добился блестящего писательского успеха. Он был предвестником романов ужасов, но для безудержной фантазии был слишком рационален. Когда же он дает волю своему необузданному воображению, не знаешь, чем восхищаться больше: эпической страстностью или иронией. Как это ни странно, тонкость иронии искупает все его неистовства и сообщает повествованию подлинную поэтичность, спасая от неправдоподобия. Этот мрачный юмор, который Сад временами обращает против самого себя, не просто формальный прием. Сад, с его стыдом и гордостью, правдой и преступлением, был одержим духом противоречия. Именно там, где он прикидывается шутом, он наиболее серьезен, а там, где предельно лжив, наиболее искренен. Когда под видом взвешенных, бесстрастных аргументов он провозглашает чудовищные гнусности, его изощренность часто прячется под маской простодушия; чтобы его не приперли к стенке, он изворачивается как может — и достигает своей цели: расшевелить нас. Сама форма изложения рассчитана на то, чтобы привести в замешательство. Сад говорит монотонно и путанно, и

мы начинаем скучать, но вдруг серое уныние освещается блеском горькой сардонической истины. Именно здесь, в веселье, неистовстве и высокомерной необработанности стиль Сада оказывается стилем великого писателя.

И все-таки никому не придет в голову сравнивать “Жюстину” с “Манон Леско” или “Опасными связями”. Как ни парадоксально, сама потребность в сочинительстве наложила на книги Сада эстетические ограничения. Ему не хватало перспективы, без которой не может быть писателя. Он не был достаточно обособлен, чтобы встретиться лицом к лицу с действительностью и воссоздать ее. Он не противостоял ей, довольствуясь фантазиями. Его рассказы отличают нереальность, внимание к лишним деталям и монотонность шизофренического бреда. Он сочиняет их ради собственного удовольствия, не стремясь произвести впечатление на читателя. В них не чувствуется упорного сопротивления действительности или более мучительного сопротивления, которое Сад находил в глубине своей души. Пещеры, подземные ходы, таинственные замки — все атрибуты готического романа имеют в его произведениях особый смысл. Они символизируют изолированность образа. Совокупность фактов отражается в восприятии вместе с содержащимися в них препятствиями. Образ же совершенно мягок и податлив. Мы находим в нем лишь то, что мы в него вложили. Образ похож на заколдованное царство, из которого никто не в силах изгнать одинокого деспота. Сад имитирует именно образ, даже когда утверждает, что придал ему литературную непрозрачность. Так, он пренебрегает пространственными и временными координатами, в рамках которых разворачиваются все реальные события. Места, которые он описывает, не принадлежат этому миру, события, которые в них происходят, скорее напоминают живые картины, чем приключения, а время в этом искусственном мире вообще отсутствует. В его произведениях нет будущего.

Не только оргии, на которые он нас приглашает, происходят вне определенного места и времени, но и — что более серьезно — в них не участвуют живые люди. Жертвы застыли в своей душераздирающей униженности, мучители — в своем неистовстве. Не наделяя их жизнью, Сад просто грезит о них. Им не знакомы ни раскаяние, ни отвращение; самое большое, на что они порой способны — это чувство пресыщения. Они равнодушно убивают, являясь отвлеченными воплощениями зла. И несмотря на то, что эротизм имеет некоторую социальную, семейную или личностную основу, он утрачивает свою исключительность. Он более не является конфликтом, откровением или особым переживанием, не поднимаясь выше биологического уровня. Как можно чувствовать сопротивление других свободных людей или сошествие духа на плоть, если все, что мы видим, это картины наслаждающейся или терзаемой плоти? Даже ужас не охватывает при виде этих эксцессов, в которых совершенно не участвует сознание. “Колодец и маятник” Эдгара По вселяет ужас именно потому, что мы воспринимаем происходящее изнутри, глазами героя; героев же Сада мы воспринимаем только извне. Они такие же искусственные и движутся в мире так же произвольно, как пастухи и пастушки в романах Флориана. Вот почему эта извращенная буколика отдает аскетизмом нудистской колонии.

Оргии, которые Сад всегда описывает в мельчайших подробностях, скорее превышают анатомические возможности человеческого тела, чем обнаруживают необычные эмоциональные комплексы. Хотя Саду и не удается сообщить им эстетическую правдивость, он в общих чертах намечает неизвестные дотоле формы эротического поведения, в частности те, которые соединяют ненависть к матери, фригидность, интеллектуальность, пассивный гомосексуализм и жестокость. Никто с такой силой не показал связь восприятия с тем, что мы называем пороком; и временами Сад позволяет нам загля-

нуть в удивительную глубину отношений между чувственностью и существованием.

Примечательно, что в 1792 г. Сад писал: “Я согласен, что чувственное наслаждение — это страсть, подчиняющая себе все остальные страсти и одновременно соединяющая их в себе”. В первой половине этого текста Сад не только превосходит так называемый “пансексуализм” Фрейда, но и превращает эротизм в движущую силу человеческого поведения. К тому же во второй части он утверждает, что чувственность наделена значением, выходящим за ее пределы. Либи́до присутствует везде и всегда гораздо шире самого себя. Сад, несомненно, предугадал эту великую истину. Он знал, что “извращения”, которые толпа считает нравственным уродством или физиологическим дефектом, на самом деле связаны с тем, что теперь называется интенциональностью<sup>5</sup>. Он пишет жене, что все “причуды... берут начало в утонченности”, а в “Алине и Валькуре” заявляет, что “изыски происходят только от утонченности; хотя утонченного человека могут волновать вещи, которые, как будто, эту утонченность исключают”. Он также понимал, что наши вкусы мотивированы не только внутренним качеством объекта, но и его отношением к субъекту. В отрывке из “Новой Жюстины” он делает попытку объяснить копрофилию. Его ответ сбивчив, но, грубо используя понятие воображения, он указывает, что истина предмета лежит не в нем самом, а в том значении, которым мы его наделяем в ходе нашего личного опыта. Подобные прозрения позволяют нам провозгласить Сада предтечей психоанализа.

К сожалению, его рассуждения теряют блеск, когда он принимается отстаивать принципы психо-физического параллелизма. “По мере развития анатомических знаний мы легко сможем продемонстрировать связь между телосложением человека и его вкусами”. Это противоречие поражает нас в странном отрывке из “120 дней Содома”, где Сад обсуждает сексуальную привле-

кательность уродства. “К тому же доказано, что именно страх, отвращение и уродство вызывают особое наслаждение. Красота проста, а безобразие исключительно. И пылкое воображение, конечно же, предпочтет необычное простому”. Хотелось бы, чтобы Сад подробнее описал связь между страхом и желанием, но ход его рассуждений резко обрывается фразой, снимающей поставленный им же вопрос: “все это зависит от устройства наших органов и их взаимодействия, и мы способны изменить наши пристрастия к подобным вещам не более, чем переделать форму наших тел”.

На первый взгляд кажется парадоксальным, что столь эгоцентричный человек обращается к теориям, начисто отрицающим индивидуальные особенности. Он умоляет нас не жалеть сил, чтобы лучше понять человеческую душу. Он пытается разобраться в самых странных ее проявлениях. Он восклицает: “Что за загадка человек!”. Он хвастает: “Вы знаете, что никто не анализирует вещи лучше меня”; и все-таки он уподобляет человека механизму и растению, просто-напросто забывая о психологии. Но это противоречие, как оно ни досадно, легко объяснить. Быть чудовищем, вероятно, не так-то просто, как думают некоторые. Он был очарован своей тайной, но он и боялся ее. Он хотел не столько выразить себя, сколько защитить. Устами Бламона он делает признание: “Я обосновал свои отклонения с помощью разума; я не остановился на сомнении; я преодолел, я искоренил, я уничтожил все, что могло помешать моему наслаждению”. Как он без устали повторял, освобождение должно начинаться с победы над угрызениями совести. А что способно подавить чувство вины надежнее, чем учение, размышляющее само представление об ответственности? Но было бы крайне неверным считать, что его взгляды этим исчерпываются; он ищет поддержку в детерминизме лишь для того, чтобы вслед за многими другими заявить о своей свободе.

С литературной точки зрения, банальности, которые-

ми он перемежает свои оргии, в конце концов лишают их всякой жизненности и правдоподобия. Здесь также Сад обращается не столько к читателю, сколько к самому себе. Нудно твердя одно и то же, он как бы совершает обряд очищения, столь же естественный для него, как регулярная исповедь для доброго католика. Сад не является нам плод усилий свободного человека. Он вынуждает нас участвовать в процессе своего освобождения. Этим-то он и удерживает наше внимание. Его попытки искреннее употребляемых им средств. Если бы детерминизм, исповедуемый Садом, устраивал его, то он покончил бы с душевными терзаниями; однако эти последние заявляют о себе с четкостью, которую не в силах замутить никакая логика. Несмотря на все внешние оправдания, которые он с таким упорством выдвигает, он продолжает задавать себе вопросы, нападать на себя. Именно его упрямая искренность, а вовсе не безупречность стиля или последовательность взглядов, дает нам право называть его великим моралистом.

## 4

“Сторонник крайностей во всем”, Сад не мог пойти на компромисс с религиозными взглядами своего времени. Первое его произведение, “Диалог между священником и умирающим”, стало декларацией атеизма. Сад ясно изложил свои взгляды: “Идея Бога — единственная ошибка, которую я не могу простить человеку”.

Он начинает с разоблачения именно этой мистификации, ибо как истинный картезианец идет от простого к сложному, от грубой лжи к завуалированному обману. Он знает, что свергнуть идолов, которым окружил человека общество, можно лишь утвердив свою независимость перед небесами. Если бы человек не боялся жупела, которому он по глупости поклоняется, он так легко не отказался бы от свободы и истины. Выбрав Бога, он предал себя, совершив непростительное преступление.

На самом же деле он не отвечает перед высшим судьей; у небес нет права на обжалование.

Сад хорошо понимал, насколько вера в ад и вечность способна возбудить жестокость. Сен-Фон играет с этой возможностью, со сладострастием представляя себе вечные муки грешников. Он развлекается, воображая дьявола-демиурга, воплощающего все природное зло. Но Сад ни на минуту не забывает, что эти гипотезы — только игра ума. Воспевая абсолютное преступление, он хочет отомстить Природе, а не оскорбить Бога. Его страстные обличения религии грешат унылым однообразием и повторением избитых общих мест, но Сад дает им собственное толкование, когда, предвосхищая Ницше, объявляет христианство религией жертв, которую, на его взгляд, следует заменить идеологией силы. Во всяком случае его честность не вызывает сомнений. Сад по природе был абсолютно не религиозен. В нем нет ни малейшего метафизического беспокойства. Он слишком занят оправданием собственного существования, чтобы рассуждать о его смысле и цели. Его убеждения шли из глубины души. И если он отслужил мессу и польстил епископу<sup>6</sup>, так это потому, что был стар, сломлен и предпочел лицемерить. Однако его завещание не оставляет места сомнению. Он боялся смерти по той же причине, что и старости: как распада личности. В его произведениях совершенно отсутствует страх перед загробным миром. Сад хотел иметь дело только с людьми, и все нечеловеческое было ему чуждо.

И все же он был одинок. Восемнадцатый век, пытаясь упразднить Царство Божие на Земле, нашел себе нового идола. И атеисты, и верующие стали поклоняться новому воплощению Высшего Блага: Природе. Они не собирались отказываться от условностей категорической всеобщей нравственности. Высшие ценности были разрушены, а наслаждение признано мерой добра; в атмосфере гедонизма себялюбие было восстановлено в своих правах. Мадам дю Шатле<sup>7</sup>, например, писала: “Начать

с того, что в этом мире у нас нет никаких иных занятий, кроме поиска приятных чувств и ощущений". Но эти робкие себялюбцы постулировали естественный порядок, обеспечивающий гармоничное согласие личных и общественных интересов. Процветание общества на благо всем и каждому следовало обеспечить с помощью разумной организации, в основе которой лежал общественный договор. Трагическая жизнь Сада уличила эту оптимистическую религию во лжи.

В XVIII в. любовь нередко рисовали в мрачных, торжественных и даже трагических тонах; Ричардсон, Прев, Дюкло, Кребийон и особенно Лакло создали немало демонических героев. Однако источником их порочности всегда была не собственная воля, а извращение ума или желаний. Подлинный, инстинктивный эротизм, напротив, был восстановлен в своих правах. Как утверждал Дидро, в определенном возрасте возникает естественное, здоровое и полезное для продолжения рода влечение, и страсти, которое оно рождает, столь же хороши и благотворны. Персонажи "Монахини" получают удовольствие от "садистских" извращений только потому, что подавляют свои желания вместо того, чтобы удовлетворять их. Руссо, чей сексуальный опыт был сложным и преимущественно неудачным, пишет: "Милые наслаждения, чистые, живые, легкие и ничем не омраченные". И далее: "Любовь, как я ее вижу, как я ее чувствую, разгорается перед иллюзорным образом совершенств возлюбленной, и эта иллюзия рождает восхищение добродетелью. Ибо представление о добродетели неотделимо от представления о совершенной женщине". Даже у Ретифа де ла Бретона<sup>8</sup> наслаждение, хотя оно и может быть бурным, всегда — восторг, томление и нежность. Один Сад разглядел в чувственности эгоизм, тиранию и преступление. Только поэтому он смог занять особое место в истории чувственности своего века, однако, он вывел из своих прозрений еще более значительные этические следствия.

В идее, что Природа — зло, нет ничего нового. Саду нетрудно было найти аргументы в пользу тезиса, воплощенного в его эротической практике и иронически подтвержденного обществом, которое заключило его в тюрьму за следование своим инстинктам. Но от предшественников его отличает то, что, обнаружив царящее в Природе зло, они противопоставляли ему мораль, основанную на Боге и обществе, тогда как Сад, хотя и отрицал первую часть всеобщего кредо ("Природа добра, подражайте ей"), как это ни парадоксально, сохранил вторую. Пример природы требует подражания, даже если ее законы — это законы ненависти и разрушения. Теперь нам следует внимательно рассмотреть, каким образом он обратил новый культ против его почитателей.

Сад неодинаково понимал отношение человека к Природе. На мой взгляд, эти различия объясняются не столько движением диалектики, сколько неуверенностью его мышления, которое то сдерживает его смелость, то дает ей полную свободу. Когда Сад просто пытается наспех подыскать себе оправдание, он обращается к механистическому взгляду на мир. Как утверждал Ламетри, действия человека не подлежат моральной оценке: "Мы виноваты в следовании нашим простейшим желаниям не более, чем Нил, несущий свои воды, или море, вздымающее волны". Так же и Сад, ища оправданий, сравнивает себя с растениями, животными и даже физическими стихиями. "В ее [Природы] руках я лишь орудие, которым она распоряжается по собственному усмотрению". Хотя он постоянно прячется за подобными утверждениями, они не выражают его истинных мыслей. Во-первых, природа для него не безразличный механизм. Ее трансформации дают нам основание предположить, что ею правит злой гений. На самом деле Природа жестока, кровожадна и одержима духом разрушения. Она "желала бы полного уничтожения всех живых существ, чтобы, создавая новые, насладиться собст-

венным могуществом". И тем не менее человек не ее раб.

В "Алине и Валькуре" Сад уже говорил, что он способен вырвать у Природы собственную свободу и обернуть ее против нее. "Давайте отважimsя совершить насилие над этой непонятной Природой, овладеть искусством наслаждаться ею". А в "Жюльетте" он заявляет еще решительней: "Раз человек сотворен, он более не зависит от Природы; раз уж Природа бросила его, она более не имеет над ним власти".

Человек не обязан подчиняться естественному порядку, поскольку тот ему совершенно чужд. Поэтому он свободен в своем нравственном выборе, который ему никто не вправе навязывать. Тогда почему из всех открытых перед ним путей Сад выбрал тот, который через подражание Природе ведет к преступлению? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учитывать всю систему его взглядов. Истинная цель этой системы — оправдать "преступления", от которых Сад никогда и не думал отказываться.

Когда он пытается доказать, что вольнодумец вправе угнетать женщин, он восклицает: "Разве Природа, наделив нас силой, необходимой для того, чтобы подчинить их нашим желаниям, не доказала, что мы имеем на это право?". Сад обвиняет законы, которые навязало нам общество, в искусственности; он сравнивает их с законами, которые могло бы выдумать общество слепцов. "Все эти обязанности мнимы, поскольку условны. Подобным образом человек приспособил законы к своим ничтожным знаниям, ничтожным хитростям и ничтожным потребностям, — но все это не имеет никакого отношения к действительности... Глядя на Природу, нетрудно понять, что все наши учреждения, сравнительно с нею, настолько же низки и несовершенны, как законы общества слепцов — сравнительно с нашими законами".

Порой он мечтал об идеальном обществе, которое не

отвергало бы его за особые пристрастия. Он искренне считал, что подобные склонности не представляют серьезной опасности для просвещенного общества. В одном из писем он утверждает: "Для государства опасны не мнения или пороки частных лиц, а поведение общественных деятелей". Дело в том, что действия распутника не оказывают на общество серьезного влияния; они не более, чем игра. Если снять запреты, придающие преступлению привлекательность, похоть сама собой исчезнет. Возможно, он также надеялся, что в обществе, уважающем своеобразие, и, следовательно, способном признать его в качестве исключения, его пороки не будут вызывать такого осуждения. Во всяком случае, он был уверен, что человек, получающий удовольствие от того, что хлещет кнутом проститутку, менее опасен для общества, чем генеральный откупщик.

Однако совершенно очевидно, что интерес Сада к общественным преобразованиям носил чисто умозрительный характер. Будучи одержим собственными проблемами, он не собирался меняться и уж совсем не искал одобрения окружающих. Пороки обрекали его на одиночество. Ему необходимо было доказать неизбежность одиночества и превосходство зла. Ему легко было не лгать, потому что он, разорившийся аристократ, никогда не встречал похожих на себя людей. Хотя он не верил в обобщения, он придавал своему положению ценность метафизической неизбежности: "Человек одинок в мире". "Все существа рождены одинокими и не нуждаются друг в друге".

Но человек у Сада не просто мирится с одиночеством; он утверждает его один против всех. Отсюда следует, что ценности не одинаковы не только для разных классов, но и для разных людей. "Все страсти имеют два значения, Жюльетта: одно — очень несправедливое, по мнению жертвы; другое — единственно справедливое для ее мучителя. И это главное противоречие непреодолимо, ибо оно — сама истина". Попытки людей прими-

рить свои стремления, пытаюсь обнаружить за ними некий общий интерес, всегда фальшивы. Ибо не существует иной реальности, кроме замкнутого в себе человека, враждебного всякому, кто покусится на его суверенность. Свободный человек не в состоянии предпочесть добро просто потому, что его нет ни на пустых небесах, ни на лишенной справедливости Земле, ни на идеальном горизонте; его невозможно найти нигде. Зло торжествует повсюду, и есть лишь один путь отстоять себя перед ним: это принять его.

Несмотря на свой пессимизм, Сад яростно отрицает идею покорности. Вот почему он осуждает лицемерную покорность, носящую звучное имя добродетели, глупую покорность царящему в обществе злу. Подчиняясь, человек предает не только себя, но и свою свободу. Сад с легкостью доказывает, что целомудрие и умеренность неоправданны даже с точки зрения пользы. Предвззудки, клеймящие кровосмешение, гомосексуализм и прочие сексуальные “странности”, преследуют одну цель: разрушить личность, навязав ей тупой конформизм.

Добродетель не заслуживает ни восхищения, ни благодарности, ибо она не соответствует требованиям высшего блага, но служит интересам тех, кто любит выставить ее напоказ. По логике вещей Сад должен был прийти к этому выводу. Но если человек руководствуется только личным интересом, тогда стоит ли презирать добродетель? Чем она хуже порока? Сад с жаром отвечает на этот вопрос. Когда предпочтение отдается добродетели, он восклицает: “Какая скованность! Какой лед! Ничто не вызывает во мне волнения, ничто не возбуждает... Я спрашиваю тебя, и это — удовольствие? Насколько привлекательней другая сторона! Какой пожар чувств! Какой трепет во всех членах!”. И опять: “Счастье приносит лишь то, что возбуждает, а возбуждает лишь преступление”. С точки зрения распространенного в то время гедонизма, это веский аргумент. Здесь можно только возразить, что Сад обобщает свой личный

опыт. Возможно, другие люди способны наслаждаться Добром? Сад отвергает подобный эклектизм. Добродетель может принести только мнимое *счастье*; “истинное блаженство испытывают только при участии чувств, а добродетель не удовлетворяет ни одно из них”. Подобное утверждение может вызвать недоумение, поскольку Сад превратил воображение в источник порока; однако порок, питаясь фантазиями, преподает нам определенную истину, а доказательством его подлинности служит оргазм, т.е. определенное ощущение; тогда как иллюзии, питающие добродетель, никогда не приносят человеку реального удовлетворения. Согласно философии, которую Сад позаимствовал у своего времени, единственным мерилom реальности является ощущение, и если добродетель не возбуждает никакого чувства, то значит у нее нет никакой реальной основы.

Сравнивая добродетель и порок, Сад более ясно объясняет, что он имеет в виду: “...первая есть нечто иллюзорное и выдуманное; второй — нечто подлинное, реальное; первая основана на предвззудках, второй — на разуме; первая при посредничестве гордости, самом ложном из наших чувств, может на миг заставить наше сердце забиться чуть сильнее; другой доставляет истинное душевное наслаждение, воспламеняя все наши чувства...”. Химерическая, воображаемая добродетель заключает нас в мир призраков, тогда как конечная связь порока с плотью свидетельствует о его подлинности.

Терзая свою жертву следует в состоянии постоянного напряжения, иначе, остывая, страсть обернется угрызениями совести, которые таят в себе смертельную опасность.

На последней ступени намеренного морального разложения человек освобождается не только от предвззудков и стыда, но и от страха. Его спокойствие сродни невозмутимости древнего мудреца, считавшего тщетным все то, что от нас не зависит. Однако мудрец ограничивался негативной защитой от страдания. Мрачный

скептицизм Сада обещает позитивное счастье. Так, Железное Сердце [глава воровской шайки. — Н.К.] выдвигает следующую альтернативу: “Либо преступление, которое делает нас счастливыми, либо эшафот, который спасает нас от несчастья”. Человек, умеющий превратить поражение в победу, не знает страха. Ему нечего бояться, потому что для него не существует плохого исхода. Грубая оболочка происходящего не занимает его; его волнует лишь значение событий, которое зависит исключительно от него самого. Тот, кого бьют кнутом или насилуют, может быть как рабом, так и господином своего палача. Амбивалентность страдания и наслаждения, унижения и гордости дает вольнодумцу власть над происходящим. Так, Жюльетте удастся превратить в наслаждение те же муки, которые повергают в отчаяние Жюстину. Обычно содержание событий не имеет большого значения, в расчет принимаются лишь намерения их участников.

Так гедонизм кончается безразличием, что подтверждает парадоксальную связь садизма со стоицизмом. Обещанное счастье оборачивается равнодушием. “Я был счастлив, дорогая, с тех пор как я стал совершенно хладнокровно совершать любые преступления”, — говорит де Брессак. Жестокость предстает здесь перед нами в новом свете: как аскеза. “Человек, научившийся быть равнодушным к чужим страданиям, становится нечувствительным к своему собственному”. Таким образом, целью становится уже не возбуждение, но апатия. Конечно, новоиспеченному вольнодумцу необходимы сильные ощущения, помогающие ему осознать подлинный смысл существования. Однако впоследствии он может довольствоваться чистой формой преступления. Преступлению свойствен “величественный и возвышенный характер, всегда и во всем превосходящий унылые прелести добродетели”. С суровостью Канта, имеющей общий источник в пуританской традиции, Сад понимает свободный акт только как акт, свободный от всех

переживаний. Оказавшись во власти эмоций, мы теряем свою независимость, вновь становясь рабами Природы.

Этот жизненный выбор открыт любому человеку, независимо от того, в каком положении он находится. В гареме монаха, где томится Жюстина, одной из жертв удастся переломить судьбу, проявив незаурядную силу характера: она закаляет свою подругу с такой жестокостью, что вызывает восхищение хозяев и становится королевой серала. Тот, кто мирится с ролью жертвы, страдает малодушием и не достоин жалости. “Что общего может быть у человека, готового на все, с тем, кто не отваживается ни на что?”. Противопоставление этих двух слов заслуживает внимания. По мнению Сада, тот, кто смеет, тот и может. В его произведениях почти все преступники умирают насильственной смертью, но им удастся превратить свое поражение в триумф. На самом деле смерть — не худшая из неудач, и какую бы судьбу Сад ни уготовил своим героям, он позволяет им осуществить заложенные в них возможности. Подобный оптимизм идет от аристократизма Сада, включающего в себя учение о предназначении со всей его неумолимой суровостью. Те свойства характера, которые позволяют немногим избранным господствовать над стадом обреченных, являются для Сада чем-то вроде благодати. Жюльетта изначально была спасена, а Жюстина — обречена.

Наиболее убедительные доводы против позиции Сада можно выдвинуть от имени человека; ведь человек абсолютно реален, и преступление наносит ему реальный ущерб. Именно в этом вопросе Сад придерживается крайних воззрений: для меня истинно лишь то, что относится к моему опыту; мне чуждо внутреннее присутствие других людей. А так как оно меня не затрагивает, то и не может накладывать на меня никаких обязательств. “Нас совершенно не касаются страдания других людей; что у нас общего с этими страданиями?”. И снова: “Нет никакого сходства между тем, что испытывают другие, и что чувствуем мы. Нас оставляют равнодуш-

ными жестокие страдания других и возбуждает малейшее собственное удовольствие". Гедонистический сенсуализм восемнадцатого века мог предложить человеку одно: "искать приятные чувства и ощущения". Этим подчеркивалось, что человек в сущности одинок. В "Жюстине" Сад изображает хирурга<sup>9</sup>, собирающегося расчленить свою дочь во имя будущего науки и, следовательно, человечества. С точки зрения туманного будущего человечество в его глазах имеет определенную ценность; но что такое человек, сведенный к простому присутствию? Чистый факт, лишенный всякой ценности, волнующий меня не более, чем неодушевленный предмет. "Мой ближний для меня ничто; он не имеет ко мне никакого отношения".

Люди не представляют для деспота никакой опасности, не угрожая сути его бытия. И все же внешний мир, из которого он исключен, раздражает его. Он жаждет в него проникнуть. Сад постоянно подчеркивает, что извращения возбуждают не столько страдания жертвы, сколько сознание своей власти над ней. Его переживания не имеют ничего общего с отвлеченным демоническим удовольствием. Замышляя темные дела, он видит, как его свобода становится судьбой другого человека. А так как смерть надежнее жизни, а страдания — счастья, то совершая насилие и убийство, он берет раскрытие этой тайны на себя. Ему мало под видом судьбы наброситься на обезумевшую жертву. Открываясь жертве, мучитель вынуждает ее заявить о своей свободе криками и мольбами. Но если жертва не понимает смысла происходящего, она не стоит мучений. Ее убивают или забывают. Жертва имеет право взбунтоваться против тирана: сбежать, покончить с собой или победить. Палач добивается от жертвы одного: чтобы, выбирая между протестом и покорностью, бунтом или смирением, жертва в любом случае поняла, что ее судьба — это свобода тирана. Тогда ее соединят с повелителем теснейшие узы. Палач и жертва образуют настоящую пару.

Бывает, жертва, смирившись со своей судьбой, становится сообщником тирана. Действуя заодно с мучителем, она превращает страдание в наслаждение, стыд — в гордость. Для него это лучшая награда. "Для вольнодумца нет большего наслаждения, чем создать себе прозелита". Совращение невинного существа, бесспорно, является демоническим актом, однако, учитывая амбивалентность зла, можно считать его истинным обращением, завоеванием еще одного союзника. Совершая насилие над жертвой, мы вынуждаем ее признать свое одиночество, и, следовательно, постичь истину, примиряющую ее с врагом. Мучитель и жертва с удивлением, уважением и даже восхищением узнают о своем союзе.

Как справедливо указывалось, между распутниками Сада нет прочных связей, их отношениям постоянно сопутствует напряженность. Однако то, что эгоизм всегда торжествует над дружбой, не отнимает у последней реальности.

Нуарсей не забывает напомнить Жюльетте, что их связывает только удовольствие, которое он получает в ее обществе, но это удовольствие подразумевает конкретные отношения. Каждый находит в лице другого союзника, ощущая одновременно свободу от обязательств и возбуждение. Групповые оргии рожают у вольнодумцев Сада чувство подлинной общности. Каждый воспринимает себя и свои действия глазами других. Я ощущаю свою плоть в плоти другого, значит мой ближний действительно существует для меня. Поразительный факт существования обычно ускользает от нашего сознания, но мы можем распорядиться его тайной, подобно Александру, разрубившему гордиев узел: мы можем соединиться друг с другом в половом акте. "Что за загадка человек! — Конечно, мой друг, вот почему один остроумный человек сказал, что легче насладиться им, чем его понять". Эротизм выступает у Сада в качестве единственно надежного средства общения. Пародируя Кло-

деля, можно сказать, что пенис у Сада — “кратчайший путь между двумя душами”.

## 5

Сочувствовать Саду — значит предавать его. Ведь он хотел нашего страдания, покорности и смерти; и каждый раз, когда мы встаем на сторону ребенка, чье горло перерезал сексуальный маньяк, мы выступаем против Сада. Но он не запрещал нам защищаться. Он признает право отца отомстить за насилие над его ребенком или даже предотвратить его с помощью убийства. Он требует одного: чтобы в борьбе непримиримых интересов каждый заботился только о себе. Он одобряет вендетту, но осуждает суд. Мы можем убить, но не судить. Претензии судьи раздражают Сада сильнее претензий тирана; ибо тиран действует только от своего лица, а судья пытается выдать частное мнение за общий закон. Его усилия построены на лжи: ведь каждый человек замкнут в своей скорлупе и не способен служить посредником между изолированными людьми, от которых он сам изолирован. Пытаясь избежать жизненных конфликтов, мы уходим в мир иллюзий, а жизнь уходит от нас. Воображая, что мы себя защищаем, мы себя разрушаем. Огромная заслуга Сада в том, что он восстает против абстракций и отчуждения, уводящих от правды о человеке. Никто не был привязан к конкретному более страстно. Он никогда не считался с “общим мнением”, которым лениво довольствуются посредственности. Он был привержен только истинам, извлеченным из очевидности собственного опыта. Поэтому он превзошел сенсуализм своего времени, превратив его в этику подлинности.

Это не означает, что нас должно удовлетворять предложенное им решение. Желание Сада ухватить саму суть человеческого существования через свою личную ситуацию — источник его силы и его слабости.

Он не видел другого пути, кроме личного мятежа;

он знал только альтернативу между абстрактной моралью и преступлением. Отрицая всякую значимость человеческой жизни, он санкционировал насилие. Однако это бессмысленное насилие теряет свою притягательность, а тиран вдруг обнаруживает собственную ничтожность.

Заслуга Сада не только в том, что он во всеуслышание заявил о том, в чем каждый со стыдом признается самому себе, но и в том, что он не смирился. Он предпочел жестокость безразличию. Вот почему сегодня, когда признано, что он стал жертвой не столько чьих-то пороков, сколько благих намерений, его произведения вновь вызывают интерес. Противостоять опасному оптимизму общества значит становиться на сторону Сада. В одиночестве тюремной камеры он пережил этическое затмение, подобное тому интеллектуальному мраку, в который погрузил себя Декарт. В отличие от последнего, Сад не испытал озарения, зато он подверг сомнению все простые ответы. Если мы надеемся когда-нибудь преодолеть человеческое одиночество, мы не должны делать вид, что его не существует. Иначе вместо обещанных счастья и справедливости восторжествует зло. Сад, до конца испивший чашу эгоизма, несправедливости и ничтожества, настаивает на истине своих переживаний. Высшая ценность его свидетельств в том, что они лишают нас душевного равновесия. Сад заставляет нас внимательно пересмотреть основную проблему нашего времени: правду об отношении человека к человеку.

## Альбер Камю. Литератор<sup>1</sup>

Был ли Сад атеистом? Он говорит о своем атеизме в дотюремный период, о чем свидетельствует его “Диалог между священником и умирающим”; но затем начинаешь сомневаться в этом ввиду его яростного святотатства. Один из самых жестоких его персонажей, Сен-Фон, вовсе не отрицает Бога. Он довольствуется тем, что развивает гностическую теорию злогодемиурга и делает из этой теории соответствующие выводы. Сен-Фон, скажут мне, не маркиз де Сад. Персонаж никогда не тождествен романисту, его сотворившему. Однако вполне вероятно, что романист — это все его персонажи вместе взятые. Так вот, все атеисты Сада принципиально отрицают существование Бога и довод их прост и ясен: существование Бога предполагало бы его равнодушие, злобу или жестокость. Самое значительное произведение Сада заканчивается демонстрацией тупости и злобности божества. Невинную Жюстину застигает в пути гроза, и преступник Нуарсей дает обет обратиться в христианство, если молния не ударит в нее. Но молния поражает Жюстину. Нуарсей торжествует, и человек ответит преступлением на преступление Бога. Репликой на пари Паскаля выступает пари вольнодумца.

Во всяком случае, писатель составил себе представление о Боге как о существе преступном, угнетающем и отрицающем человека. Согласно Саду, история религий ясно показывает, что божеству свойственно убивать. Тогда какой человеку смысл быть добродетельным? Первый богоборческий порыв толкает тюремного философа к самым крайним выводам. Если уж Господь отрицает и уничтожает человека, то нет никаких препятст-

вий к тому, чтобы отрицать и убивать себе подобных. Этот судорожный вызов совершенно не похож на спокойное отрицание, характерное еще для “Диалогов” 1782 г. Разве можно назвать спокойным или счастливым человека, который восклицает: “Ничего — для меня, ничего — от меня”, — и делает вывод: “Нет, нет, и добродетель, и порок — все уравнивается в гробу”. Идея Бога — это единственное, “чего нельзя простить человеку”. Слово “простить” уже знаменательно у этого учителя пыток. Но он сам себе не может простить идею, которую полностью опровергает его безысходное видение мира и положение узника. Двойной бунт будет отныне направлять мысль Сада — бунт против миропорядка и бунт против себя самого. Поскольку они противоречат друг другу где угодно, кроме потрясенной души изгоя, его философствование всегда будет двусмысленным или логичным в зависимости от того, рассматривают ли его в свете логики или в стремлении к соперничеству.

Итак, Сад отрицает человека и его мораль, поскольку и то, и другое отрицается Богом. Но одновременно он отрицает и Бога, до сих пор выступавшего для Сада в роли поручителя и сообщника. Во имя чего он это делает? Во имя инстинкта, наиболее сильного у человека, которого людская ненависть вынудила жить среди тюремных стен: речь идет о половом влечении. Что это за инстинкт? С одной стороны, это крик самой природы\*, а с другой, слепой порыв к полному обладанию людьми даже ценой их уничтожения. Сад отрицает Бога во имя природы — идеологический материал для этого он почерпнет из проповедей современных ему механицистов. Сад изображает природу как разрушительную силу. Природа для него — это секс; собственная логика заводит философа в хаотическую вселенную, в которой гос-

\* Великие преступники Сада оправдывают свои злодеяния, ссылаясь на свои непомерные сексуальные аппетиты, с которыми они ничего не могут поделать.

подстывает только неиссякаемая энергия вождения. Здесь его возбужденное царство, откуда он черпает самые великолепные свои высказывания: “Что значат все живые создания по сравнению с любым из наших желаний!”. Герой Сада пускается в длинные рассуждения о том, что природа нуждается в преступлении, что разрушение необходимо ради созидания, что, разрушая себя, человек тем самым способствует делу созидания в природе. И цель всех этих размышлений — обосновать права на абсолютную свободу узника Сада, осужденного столь несправедливо, что он не может не желать, чтобы все взлетело на воздух. В этом он противостоит своему времени: ему нужна не свобода принципов, а свобода инстинктов.

Спору нет, и Сад мечтал о всемирной республике, план построения которой излагает один из его персонажей, мудрый реформатор Заме<sup>2</sup>. Таким образом, он показывает нам, что одно из возможных направлений бунта — освобождение всего мира. Оно будет происходить по мере того, как движение бунта станет набирать скорость, и ему будет все труднее мириться с какими-либо границами. Но все в нем противоречит этой благочестивой мечте. Другом рода человеческого его не назовешь, а филантропов он ненавидит. Равенство, о котором Сад порой заводит речь, для него понятие чисто математическое: равнозначность объектов, каковы суть люди, отвратительное равенство жертв. Тому, кто доводит свое желание до конца, необходимо господствовать над всем и всеми; подлинное исполнение такого желания — в ненависти. В республике Сада нет свободы для принципа, зато есть вольнодумство. “Справедливость, — пишет сей необычный демократ, — не обладает подлинным существованием. Это не что иное, как божество всех страстей”.

Нет ничего более разоблачительного, чем пресловутый трактат, прочитанный Дольмансе в “Философии будуара”, носящий любопытное заглавие: “Еще одно

усилие, французы, если вы хотите быть республиканцами”. Пьер Клоссовски<sup>3</sup> прав, подчеркивая, что сей документ доказывает революционерам, что их республика основывается на убийстве короля, помазанника божьего, и что гильотинировав Бога 21 января 1793 года, они тем самым лишили себя права на преследование злодейства и на цензуру преступных инстинктов. Монархия, утверждая идею Бога, создавшего законы, тем самым утверждала и самое себя. Республика же ни на что иное не опирается, кроме как на себя самое, и нравы в ней неизбежно лишены всякой опоры. Сомнительно, однако, чтобы Сад, как того хочет Клоссовски, обладал глубоким чувством святотатства и чтобы квазирелигиозный страх божий привел его к выводам, которые он излагает. Скорее всего, выводы Сада были на самом деле его априорными убеждениями, и лишь затем он нашел необходимые доводы в пользу абсолютной свободы нравов, которую писатель требовал от современного ему правительства. Логика страстей опрокидывает традиционный порядок рассуждения и ставит вывод перед посылками. Чтобы убедиться в этом, достаточно оценить целый ряд софизмов, при помощи которых Сад оправдывает клевету, воровство и убийство, требуя, чтобы новое общество отнеслось к ним терпимо.

Однако именно в этом его мысль достигает наибольшей глубины. С редкостной для его эпохи проницательностью Сад отвергает аксиому о надменном союзе свободы и добродетели. Свобода, особенно когда она является мечтой узника, не терпит никаких границ. Она либо является преступлением, либо перестает быть свободой. Этой существенной мысли Сад никогда не менял. Он, только противоречия и проповедовавший, выказывает железную последовательность в том, что касается смертной казни. Большой любитель изысканных истязаний и теоретик сексуальных преступлений, он терпеть не

\* “Сад, мой ближний”, Издательство “Сэй”.

мог убийства по суду. “Мое республиканское заточение, с гильотиной перед глазами, причиняло мне боль во сто крат большую, чем все мыслимые Бастилии”. В этом отвращении он черпал мужество вести себя стоически во время террора и даже великодушно вступить за тещу, несмотря на то, что именно она засадила его в тюрьму. Несколько лет спустя Нодье, быть может, сам того не ведая, четко определил позицию, упорно защищаемую Садом: “Можно еще понять, когда человека убивают в приступе страсти. Но, холодно и спокойно все взвесив, отдать приказ казнить его, ссылаясь на свою почтенную должность, — вот этого понять невозможно”. Здесь виден набросок идеи, развивавшейся еще Садом: тот, кто обрекает ближнего на гибель, должен заплатить за это собственной жизнью. Как видим, Сад предстает более нравственным, чем наши современники.

Но прежде всего ненависть писателя к смертной казни — это только ненависть к людям, которые настолько уверовали в собственную добродетель или в праведность своего дела, что решились карать без колебаний, тогда как сами они преступники. Нельзя в одно и то же время позволять себе преступление, а наказание назначать другим. Необходимо распахнуть двери тюрем или же доказать свою безупречную добродетельность, что невозможно. Как только человек допустил возможность убийства, хотя бы и единственный раз, он должен признать убийство всеобщим правилом. Преступник, действующий в соответствии с природой, не может без обмана изображать из себя законника. “Еще одно усилие, если вы хотите быть республиканцами” означает: “Допустите единственно разумную свободу преступления, и вы навсегда войдете в состояние мятежа, как входят в состояние благодати”. Тотальное подчинение злу пролагает путь страшной аскезы, которая должна ужаснуть республику просвещения и естественной доброты. Такая республика, чьим первым актом по многозначительному совпадению стало сожжение рукописи “Ста двад-

цати дней Содомы”, не могла не изобличить эту еретическую свободу и снова не засадить своего столь компрометирующего сторонника в каменный мешок. Тем самым республика дала ему чудовищную возможность продвинуть еще дальше его мятежную логику.

Всемирная республика могла быть мечтой, но вовсе не искушением Сада. В политике его подлинной позицией является цинизм. В “Обществе друзей преступления” он упорно объявляет себя сторонником правительства и его законов, право нарушать которые он, тем не менее, оставляет за собой. Точно так же сутенеры голосят за депутата-консерватора. Задуманный Садом проект предполагает благожелательный нейтралитет властей относительно аморальных поступков. Республика преступления, по меньшей мере временно, не может быть всеобщей. Она должна делать вид, что соблюдает законность. Однако в мире, где нет иных прав, кроме права на убийство, под небом злодеяния и во имя преступной природы, Сад повинуетс<sup>я</sup> на деле только закону неутолимого желания. Но безграничное желание означает согласие с тем, что ты сам становишься объектом безграничных желаний. Лицензия на уничтожение предполагает, что и сам ты можешь быть уничтожен. Следовательно, необходимо бороться за власть. В этом мире действует один закон — закон силы, и вдохновляется он волей к власти.

Друг преступления действительно уважает только два рода власти — власть, основанную на случайности происхождения, которую он видит в современном ему обществе, и власть, которую захватывает угнетенный, когда он благодаря злодейству добивается равенства с вольнодумцами-вельможами, обычными героями Сада. Эта маленькая группка властителей, эти посвященные, сознают, что обладают всеми правами. Если кто-то хотя бы на миг усомнится в этой страшной привилегии, он тотчас же изгоняется из стаи и снова становится жертвой. Таким образом можно прийти к своего рода мораль-

ному бланкизму<sup>3</sup>, когда небольшое число мужчин и женщин решительно попирают касту рабов, поскольку обладают особым знанием. Единственная проблема для них состоит в том, чтобы организовать ради воплощения в жизнь всей полноты своих прав, таких же ужасных, как их вождения.

Они не могут надеяться, что навяжут свою власть всей Вселенной, поскольку она никогда не примет закон преступления. Сад никогда и не думал, что нация согласится на дополнительное усилие, которое сделает ее “республиканской”. Но если преступление и вождение не являются законом для всего мира, если они не царят хотя бы на ограниченной территории, они выступают уже не как основа единства людей, а как фермент конфликтов между ними. Преступление и вождение уже не являются законом, и человека ждут случайность и распад. Следовательно, надо из обломков создать мир, который точно соответствовал бы новому закону. Требование целостности, не достигнутое творением, выполняется во что бы то ни стало в микрокосме. Закону силы всегда недоставало терпения достичь мирового господства. Поэтому он вынужден спешно отграничить территорию, где будет воплощать себя в жизнь, и, если потребуются, окружить ее колючей проволокой и сторожевыми вышками.

В творениях Сада закон силы сооружает закрытые помещения, замки за семью стенами, бежать откуда невозможно и где по неумолимому регламенту беспрепятственно действует общество вождения и преступления. Самый разнузданный мятеж против морали, требование тотальной свободы приводит к порабощению большинства. Эмансипация человека завершается для Сада в казематах распутства, где своего рода политбюро порока управляет жизнью и смертью мужчин и женщин, навсегда вошедших в пекло необходимости. Его творчество изобилует описаниями таких привилегированных мест, где вольнодумцы-вельможи, демонстри-

руя своим жертвам их беспомощность и полнейшую порабощенность, при каждом удобном случае повторяют слова герцога Бланжи, обращенные к маленькому народу “Ста двадцати дней Содомы”: “Вы уже мертвы для мира”.

Точно так же жил и Сад в башне Свободы<sup>4</sup>, но только в Бастилии. Вместе с ним его абсолютный бунт укрывается в мрачной крепости, откуда нет выхода никому, — ни узнику, ни тюремщику. Чтобы основать свою свободу, де Сад вынужден организовать абсолютную необходимость. Безграничная свобода желания означает отрицание другого человека, а также отказ от всякой жалости. Необходимо покончить с человеческим сердцем, этой “слабостью духа”. Крепкая ограда и регламент помогут в этом. Регламент, играющий важнейшую роль в фантастических замках де Сада, освящает вселенную подозрительности. Он старается все предусмотреть, чтобы непредсказуемые нежность или жалость не нарушали планов славного удовольствия. Споры нет, странное удовольствие, получаемое по команде! “Ежедневно подъем в десять часов утра...”. Но нужно воспрепятствовать вырождению услады в привязанность, а для этого [необходимо] набросить на удовольствие узду и затянуть ее. Нужно еще сделать так, чтобы объекты наслаждения никогда не воспринимались как личности. Если человек есть “род растения абсолютно материального”, то его можно считать только объектом, а именно: объектом эксперимента. В республике Сада, огороженной колючей проволокой, существуют только механика и механики. Регламенту как способу функционирования механики здесь подчинено все. В отвратительных монастырях Сада существуют свои правила, многозначительным образом списанные с уставов религиозных общин. Согласно им, распутник должен публично исповедываться. Но знак плюс меняется на знак минус: “Если его поведение чисто, он проклят”.

Сад строит, таким образом, идеальные общества, как

это было принято в его время. Но, в отличие от своей эпохи, он кодифицирует природную злобность человека. Он старательно конструирует град, основанный на праве силы и на ненависти, будучи его предтечей. Настолько, что даже завоеванную свободу он переводит на язык цифр. Свою философию он резюмирует в холодной бухгалтерии преступления: “Убитых до 1 марта: 10. После 1 марта: 20. Сами перешли в мир иной: 16. Итого: 46”<sup>5</sup>. Безусловно, предтеча, но, как видно, еще скромный.

Если бы этим все и ограничилось, Сад заслуживал бы только интереса, вызываемого непризнанными предтечами. Но подняв однажды подъемный мост, приходится жить в замке. Каким бы тщательным ни был регламент, ему не удастся предусмотреть все. Он может разрушать, но не созидать. Владыки этих истязаемых общин не находят в регламенте вождя удовлетворения... Сад частенько вспоминает “сладкую привычку к преступлению”. Однако здесь нет ничего похожего на сладость — скорее здесь чувствуется ярость человека, закованного в кандалы. По сути речь идет о наслаждении, причем максимальное наслаждение совпадает с максимальным разрушением. Обладать тем, кого убиваешь, совокупляться с воплощенным страданием — таково мгновение тотальной свободы, ради которого и задумана вся организация жизни в замках. Но с того момента, когда сексуальное преступление уничтожает объект сладострастия, оно уничтожает и само сладострастие, которое существует только в миг уничтожения. Значит, необходимо подчинять себе новый объект и снова его убивать, а затем следующий и за ним — бесконечную череду всех возможных объектов. Так возникают мрачные скопления эротических и криминальных сцен, застылость которых в романах Сада парадоксальным образом оставляет у читателя впечатление омерзительной бесполости.

Что остается делать в этом универсуме наслаждению, огромной цветущей радости тел, влекущихся друг к

другу? Речь идет о невозможном стремлении избежать отчаяния, которое, однако, снова кончается отчаянием, переходом от рабства к рабству, от тюрьмы к тюрьме. Если подлинна только природа, если ее закон — только вождение и разрушение, тогда самого идущего от разрушения к разрушению человеческого царства не хватит, чтобы утолить жажду крови, а потому не остается ничего, кроме всеобщего уничтожения. Согласно формуле Сада, нужно стать палачом природы. Но именно этого добиться не так-то просто. Когда все жертвы отправлены на тот свет и счет их закрыт, палачи остаются в обезлюдевших замках наедине друг с другом. И кое-чего им еще недостает. Тела замученных распадутся на элементы в природе, которая снова породит жизнь. Убийство оказывается незавершенным: “Убийство отнимает у индивида только первую жизнь; нужно было бы суметь отобрать у него и вторую...”. Сад замышляет покушение на мироздание: “Я ненавижу природу... Я хотел бы расстроить ее планы, преградить ей путь, остановить движение светил, сотрясти планеты, плавающие в космических пространствах, уничтожить все, что служит природе и способствовать всему, что ей вредит, короче говоря, оскорбить природу в ее созданиях, но я не в состоянии этого добиться”. Тщетно писатель воображает механика, способного превратить в пыль всю Вселенную. Он знает, что и в пыли, оставшейся от планет, продолжится жизнь. Покушение на сотворенный мир неосуществимо. Все разрушить невозможно, всегда обнаруживается остаток. “Я не в состоянии этого добиться...” — и вид этой неумолимой ледяной Вселенной вызывает у Сада жестокий приступ меланхолии, чем он и трогает наше сердце, даже не желая того. “Быть может, мы смогли бы взять штурмом солнце, отобрать его у Вселенной или же воспользоваться им и устроить мировой пожар. Вот это были бы преступления!”... Да, это были бы преступления, но не окончательное пре-

ступление! Нужно сделать еще что-то; и вот палачи начинают угрожающе присматриваться друг к другу...

Они одиноки, и правит ими единственный закон — закон силы. Поскольку палачи приняли его, будучи владыками, они уже не могут отвергнуть его даже тогда, когда он оборачивается против них. Всякая власть, всякая сила стремится быть единственной и одинокой. Нужно убивать еще и еще, и теперь властители терзают уже друг друга. Сад осознает подобный результат, но не отступает. Своеобразный стоицизм порока проливает некоторый свет на это дно бунта. Такой стоицизм не станет искать союза с миром нежности и компромисса. Подъемный мост не опустится, стоицизм примирится с собственной гибелью. Разнузданная сила отказа безоговорочно принимает самые крайние последствия своих действий, и это не лишено величия. Господин, в свою очередь, соглашается стать рабом и, может быть, даже желает этого. “Даже эшафот стал бы для меня тронм сладострастия”.

В таком случае самое грандиозное разрушение совпадает с самым мощным утверждением. Властители бросаются в схватку друг с другом, и замок их, возведенный во славу вольнодумства, оказывается “усеянным трупами вольнодумцев, сраженных в расцвете их дарования”. Самый сильный, переживший остальных, будет одиноким, Единственным, которого и восславил Сад, восславив тем самым в конечном счете самого себя. Это он царит там, став, наконец, владыкой и Богом. Но как раз в минуту его высочайшего триумфа мечта рассыпается в прах. Единственный превращается в узника, который был порожден его же безграничными фантазиями. Они сливаются воедино. Единственный по-настоящему одинок, будучи заточен в окровавленной Бастилии, чьи стены окружают еще не утоленную жажду наслаждений, отныне лишенную объекта. Он восторжествовал только в мечтах, и эти десятки томов, переполненных жестокостями и философствованием, подводят итог безрадост-

ной аскезе, галлюцинаторному движению от абсолютного “нет” к абсолютному “да”, и, наконец, примирению со смертью, которая превращает убийство всего и всех в коллективное самоубийство.

Казнили Сада символически<sup>8</sup> — точно так же он убивал только в воображении. Прометей превращается в Онана. Сад завершит жизнь, оставаясь по-прежнему узником, но на сей раз не тюрьмы, а сумасшедшего дома, разыгрывая пьесы на сцене судьбы в окружении безумцев. Мечта и творчество принесли Саду жалкий суррогат удовлетворения, которого не дал ему миропорядок. Писатель, конечно, ни в чем себе не отказывал. Для него, по крайней мере, все границы уничтожались и желание могло идти до последних пределов. В этом де Сад предстает законченным литератором. Он сотворил фантастический мир, чтобы дать себе иллюзию бытия. Он поставил превыше всего “нравственное преступление, совершаемое при помощи пера и бумаги”. Его неоспоримая заслуга состоит в том, что он впервые с болезненной пронизательностью, присущей сосредоточенной ярости, показал крайние последствия логики бунта, забывшей правду своих истоков. Следствия эти таковы: замкнутая тотальность, всемирное преступление, аристократия цинизма и воля к апокалипсису. Эти последствия скажутся много лет спустя. Но, отведав их, испытываешь впечатление, что Сад задыхался в своих собственных тупиках и что он мог обрести свободу только в литературе. Любопытно, что именно Сад направил бунт на дорогу искусства, по которой романтизм поведет его еще дальше вперед. Сад окажется одним из тех писателей, о которых он сам говорил: “Развращенность их столь опасна, столь деятельна, что целью обнародования их чудовищной философской системы становится лишь одно — распространить и за пределы их жизней все совершенные ими преступления; сами они уже не могут это сделать, но зато могут их проклятые писания, и сия сладостная мысль утешает их в отказе от всего

существующего, к которому их вынуждает смерть". Так мятежное творчество Сада свидетельствует о желании пережить в нем себя самого. Даже если бессмертие, которого он вожделеет, это бессмертие Каина, он все равно вожделеет его и вопреки самому себе самым достоверным образом свидетельствует о метафизическом бунте.

В конечном счете сами его творческие наследники внушают уважение к нему. Не все они — писатели. Безусловно, Сад страдал и умер ради того, чтобы распалить воображение богатых кварталов и литературных кафе. Но это не все. Успех Сада в нашу эпоху объясняется мечтой, роднящей его с современным мироощущением. Речь идет о требовании тотальной свободы и дегуманизации, хладнокровно осуществляемой рассудком. Низведение человека до уровня объекта экспериментов, регламент, определяющий отношения между волей к власти и человеком-объектом, замкнутое пространство этого жуткого опыта, — таковы уроки, которые теоретики силы воспримут, когда вознамерятся организовать эпоху рабов.

Два столетия тому назад Сад восславил тоталитарные общества во имя такой неистовой свободы, которой бунт, по сути, и не требует. Сад действительно стоит у истоков современной истории, современной трагедии. Он только считал, что общество, основанное на свободе преступления, должно вместе с тем исповедовать свободу нравов, как будто рабство имеет пределы. Наше время ограничилось тем, что странным образом сочетало свою мечту о всемирной республике и свою технику уничтожения. В конечном счете то, что Сад больше всего ненавидел, а именно, узаконенное убийство, взяло себе на вооружение открытия, которые он хотел поставить на службу убийству инстинктивному. Преступление, которое виделось ему как редкостный и сладкий плод разнузданного порока, стало сегодня скучной обязанностью добродетели, перешедшей на службу полиции. Таковы сюрпризы литературы.

## Ролан Барт. *Сад*-I<sup>1</sup>

У Сада есть романы, в которых много путешествуют. Разрушительное странствие Жюльетты проходит через Францию, Савойю и Италию вплоть до Неаполя; Бриза-Теста доезжает до самой Сибири. Тема путешествия легко сопрягается с темой инициации; однако, хотя роман о Жюльетте и начинается с ученичества, путешествие у Сада никогда не приводит ни к какому новому знанию (разнообразие нравов отодвинуто в садовскую проповедь, где оно используется для доказательства относительности представлений о добре и зле). Будь то Астрахань, Анжер, Неаполь или Париж, садовские города — не более чем поставщики плоти, уединенные домики, сады, служащие декорацией для сладострастия; и климаты, служащие возбудителями сладострастия; перед нами неизменно одна и та же география, одна и та же популяция, одни и те же функции. Важно пройти не через ряд более или менее экзотических случайностей, а через повторение одной и той же сущности, имя которой — преступление (под этим словом будем постоянно понимать пытку и разврат). Итак, если садическое путешествие и разнообразно, то садическое пространство единственно и неизменно: все эти путешествия нужны только для того, чтобы запереться. Образцом садического пространства может служить Силлинг, замок Дюрсе, стоящий в самой глубине Шварцвальда, где четыре либертена из "120 дней Содома" запираются на четыре месяца со своим сералем. Этот замок герметически изолирован от внешнего мира серией преград, напоминаю-

\* Так, сибирский снег используется для особой оргии.

сих реалии некоторых волшебных сказок: селение угольщиков-контрабандистов, которые никого не пропустят, крутая гора, головокружительная пропасть, через которую можно перебраться только по мосту (этот мост либертены прикажут уничтожить после того, как запрут в замке), десятиметровая стена, глубокий ров с водой, ворота, которые будут заложены кирпичами, как только либертены пройдут внутрь, и, наконец, ужасающее количество снега.

Таким образом, садическая закрытость — это остервенелая закрытость; она имеет двоякую функцию: во-первых, конечно, изолировать сладострастие, укрыть его от карательных действий мира; однако, либертенское одиночество — это не только практическая предосторожность; это и некая самостоятельная ценность существования, некое наслаждение бытием\*, поэтому оно обретает особую форму, функционально бесполезную, но образцовую в философском отношении: даже при самых надежных укрытиях садическое пространство предполагает некую “тайную камеру”, куда либертен уводит некоторых своих подданных, уводит ото всякого постороннего взора, даже взора сообщников; в этой “камере” либертен будет абсолютно один со своей жертвой — вещь, весьма необычная в этом коммунитарном обществе; разумеется, секретность “камеры” совершенно условна: нет никакой нужды утаивать то, что в ней происходит, поскольку все происходящее так или иначе относится к области пыток и преступлений, а они практикуются в садовском мире с полной откровенностью; за вычетом религиозной тайны Сен-Фона, садовский секрет — это всего лишь театральная форма одиночества; он на время десоциализирует преступление; в глубоко

\* Снегопад над Силлингом: “Нельзя вообразить, сколь все эти предосторожности способствуют наслаждению; нельзя вообразить все, на что отваживается человек, когда он может сказать себе: “Я здесь один, на краю света, укрытый от любых взглядов, и ни одна живая душа не сможет до меня добраться; нет больше узды, нет больше преград”.

словесном мире он осуществляет редкий парадокс: парадокс немого действия; а поскольку единственная реальность у Сада — это реальность рассказа, безмолвие “камеры” полностью смешивается с пробелом в повествовании: смысл обрывается. Символическим аналогом этого “провала” становится само местонахождение “камеры”: в этой функции постоянно выступают глубокие подвалы, крипты, подземелья, раскопы, находящиеся в самом низу замков, садов, рвов; из этих углублений человек выходит назад один, ничего не говоря\*. Итак, по сути своей тайная камера — это путешествие внутрь земли, теллурическая тема, смысл которой разъясняет Жюльетта в связи с вулканом Пьетра-Мала.

Закрытость садического пространства выполняет и другую функцию: она создает основу для социальной автаркии. Запершись, либертены, их подручные и их подданные образуют целостный социум, имеющий свою экономику, свою мораль, свою речь и свое время, распisanное по дням и часам, членищееся на будни и праздники. Здесь, как и в других случаях, закрытость является предпосылкой создания системы, то есть работы воображения. Самым близким аналогом садовского города будет фурийский фаланстер: та же установка на подробное вымышление некоего самодовлеющего человеческого интерната, то же стремление отождествить счастье с закрытым и организованным пространством, та же страсть определять живые существа через их функции и детально регулировать взаимодействие этих функциональных классов, та же забота об экономии аффектов — короче, та же гармония и та же утопия. Садическая утопия — как, впрочем, и утопия Фурье — в го-

\* Сады Общества Друзей Преступления: “У основания некоторых деревьев оставлены ямы, куда жертва может быть сброшена в любую минуту. Иногда трапезы происходят под этими деревьями, иногда — прямо в ямах. Среди этих ям попадаются чрезвычайно глубокие, в которые можно спуститься лишь по тайной лестнице и где можно предаваться любым низостям в таком же спокойствии, в таком же безмолвии, как если бы вы находились во внутренностях Земли”.

раздо большей степени определяется организацией ежедневной жизни, чем теоретическими декларациями. Признак утопии — ежедневность; или иначе: все ежедневное утопично: расписания, меню, перемены одежды, правила беседы или коммуникации — все это есть у Сада: садический город стоит не только на своих “удовольствиях”, но и на своих потребностях; поэтому можно набросать этнографический очерк садовского поселения.

Мы знаем, что едят либертены. Мы знаем, например, что 10 ноября в Силлинге господа подкрепились на расвете импровизированным (пришлось будить кухарок) завтраком, состоявшим из взбитых яиц, блюда под названием *chinsaга*, лукового супа и яичницы. Эти подробности (как и многие другие) не случайны. Питание у Сада — это кастовое дело, и потому оно подлежит классификациям. В ряде случаев еда — это знак роскоши, без которой не может обойтись никакой либертинаж — не потому, что роскошь сама по себе сладостна: садическая система не есть простой гедонизм — а потому, что деньги, необходимые для роскоши, обеспечивают разделение на бедных и богатых, на рабов и господ: “Я желаю неизменно видеть на нем”, — говорит Сен-Фон, поручая Жюльетте заботы о своем столе, — “самые изысканные яства, самые редкие вина, самую ценную дичь, самые диковинные фрукты”. В других случаях еда выступает как знак чрезмерности, то есть чудовищности: Минский, г-н де Жернанд (либертен, который пускает кровь своей жене каждые четыре дня) устраивают себе немислимые трапезы, немислимость которых (десятки перемен, сотни блюд, двенадцать бутылок вина, две бутылки ликера, десять чашек кофе) удостоверяет победительную мощь либертенского тела. Кроме того, господская еда имеет следующие две функции. С одной стороны, она восстанавливает, возмещает гигантский расход спермы, требуемый от либертена; редкая оргия не начинается с еды и не завершается “легким подкреплением

сил” при помощи шоколада или гренок с испанским вином. Клервиль, с ее колоссальными оргиями, придерживается “особого” режима: она ест только очищенные от костей дичь и птицу, которым придан обманчивый вид других блюд; ее неизменный напиток в любое время года — ледяная подсахаренная вода с двадцатью каплями лимонной эссенции и двумя ложками настоя из апельсиновых лепестков. С другой стороны, еда, наоборот, может служить для убийства или по меньшей мере для нейтрализации: в шоколад Минского подмешивают снотворное; в шоколад юного Роза и г-жи де Брессак кладут яд. Животворная или смертоносная субстанция, садовский шоколад в конце концов становится чистым знаком этого двоякого пищевого режима\*. Рацион второй касты, касты жертв, также известен: птица с рисом, компот, шоколад (снова!) — таков завтрак Жюстины и ее товарок в бенедиктинском монастыре, где они составляют сераль. Питание жертв всегда обильно, в силу двух вполне либертенских причин: во-первых, сами эти жертвы должны восстанавливаться (ангелическая г-жа де Жернанд после кровопускания просит подать ей молодых куропаток и утку по-руански) и откармливаться с тем, чтобы они могли предоставить для сладострастия выпуклые и пышные “алтари”, во-вторых, необходимо обеспечить для копрофагической страсти “обильную, мягкую и нежную” пищу; отсюда — режим питания, разработанный с медицинской тщательностью (белое мясо птицы, дичь, очищенная от костей, ни хлеба, ни солений, ни жира; кормить часто и внезапно, вне привычного расписания, с тем, чтобы вызвать легкое расстройство желудка — вот рецепт, который предлагает всезнающая Дюкло). Таковы функции еды в садическом

\* Шоколад-восстановитель: “Все сказано; монсеньер, в раздражении, укладывается обратно на ложе; ему готовят обычную чашку шоколада...”, или: “После оргии король Сардинии предложил мне половину своего шоколада, я согласился; мы заговорили о политике”. Шоколад-убийца: “После того, как я хорошенько вы...у его дражайшего сына, мы предложим ему завтра утром чашечку шоколада”.

городе: восстановление, отравление, откармливание, испражнение; все они соотносены со сладострастием.

То же и с одеждой. Эта сфера, которая находится, можно сказать, в центре всей современной эротики, от Моды до стриптиза, сохраняет у Сада беспощадно функциональное значение — одного этого хватило бы, чтобы отличить садовый эротизм от эротизма в сегодняшнем понимании. Отношения между одеждой и телом не становятся у Сада предметом извращенной (т.е. нравственной) игры. В садическом городе отсутствуют все те аллюзии, провокации и умолчания, которые содержит наша одежда: любовь здесь сразу оголяется, а весь стриптиз сводится к грубой команде “Задрать юбку!”<sup>\*</sup>. Конечно, одежда обыгрывается у Сада; но, как и в случае с пищей, это ясная игра знаков и функций. Во-первых, знаки: когда во время ассамблеи (то есть не в часы оргий) нагота соседствует с одеждой (и, следовательно, вступает с ней в противопоставление), она служит для выделения особо униженных лиц; во время ежевечерних рассказов в Силлинге весь сераль (временно) одет, но родственницы четырех господ, особо униженные в своем качестве жен и дочерей, остаются голыми. Что касается самой одежды (здесь имеются в виду одежды сераля, только они интересуют Сада), она либо указывает посредством специальных знаков (цвета, ленточки, гирлянды) на классы подданных: классы возрастные (сколь это опять-таки напоминает Фурье!), функциональные (мальчики, девочки, ..ари, старухи), инициационные (девственники меняют свою униформу после торжественной дефлорации), классы собственности (каждый либертен одевает свою “дворню” в особый цвет)<sup>\*\*</sup> — либо же выбор одежды диктуется установкой на театральность, и одежда включается в тот многообразный цере-

\* За одним исключением, о котором будет сказано ниже.

\*\* Трансвестизм редок у Сада. Жюльетта однажды прибегает к нему, но обычно он презирается в качестве источника иллюзии (он используется негативно, для выявления жертв, которые ему не поддаются).

мониал, который составляет (за исключением “тайной камеры”, о которой говорилось выше) всю неоднозначность садической “сцены”. Садическая “сцена” — это одновременно и упорядоченная оргия, и культурный эпизод, имеющий нечто от мифологической живописи, от оперного финала и от номера из программы “Фоли-Бержер”<sup>2</sup>. Одежда в таком случае сделана обычно из блестящих и легких материй (газ, тафта) с преобладанием розового цвета (по крайней мере, у юных подданных): таковы характерные костюмы, в которые по вечерам облачаются в Силлинге четверки (азиатский, испанский, турецкий, греческий костюмы) и старухи (костюм сестры милосердия, костюм феи, костюм волшебницы, костюм вдовы). За вычстом этих знаков, садическая одежда “функциональна”, приспособлена к нуждам сладострастия: раздевание должно происходить мгновенно. Все перечисленные особенности совмещены у Сада в описании костюма, который господа из Силлинга предписывают своим четырем фаворитам: это настоящая модельная одежда, каждая деталь которой продумана с учетом внешнего эффекта (маленький узкий сюртук, игривый и легкомысленный, как прусская форма) и функции (пantalоны с вырезом сзади в форме сердца, которые моментально спадают, если развязать большой узел из лент, служащих поясом). Либертен является модельером так же, как он является диетологом, архитектором, декоратором, режиссером и так далее.

Поскольку мы тут занимаемся этнографией, надо сказать несколько слов о самой садовой популяции. Как они выглядят, эти седианиты? Раса либертенов существует лишь начиная с тридцатипятилетнего возраста;<sup>\*</sup> старые либертены отвратительны во всех отношениях (это самый частый случай); правда, попадаются и либертены с красивой внешностью, с ог-

\* Очень молода лишь Жюльетта: однако не следует забывать, что она еще проходит школу либертинажа, и к тому же она является субъектом повествования.

ненным взором, со свежим дыханием, но тогда их красота компенсируется злобным и жестоким выражением лица. Объекты же разврата красивы, если они молоды, омерзительны, если они стары, но в обоих случаях пригодны для сладострастия. Таким образом, выясняется, что в этом “эротическом” мире ни возраст, ни красота не могут служить критерием классификации индивидов. Классификация, конечно, возможна, но лишь на уровне дискурса. В самом деле, у Сада встречаются два типа “портретов”. Портрет первого типа — реалистичен, направлен на подробнейшую индивидуализацию человека, от физиономии до половых признаков: “Президент де Кюрваль... был высоким, худым, сухопарым человеком с глубоко запавшими тусклыми глазами, бледным и нездоровым ртом, выдающимся подбородком, длинным носом. Он был покрыт волосами как сатир; у него была плоская спина, дряблые и отвислые ягодицы, напоминавшие скорее две тряпки, болтающиеся сверху бедер”, и т.д. Это — портрет в “правдивом” роде (в том смысле, который традиционно вкладывается в слово “правдивый” применительно к литературе) и, следственно, он ориентирован на разнообразие; с одной стороны, каждое описание все более конкретизируется по мере того, как мы продвигаемся вниз по телу: автору важно переместить внимание читателей с лиц героев на их половые члены и ягодицы; с другой же стороны, портрет либертена должен соотноситься с фундаментальным разделением этой расы на сатиров, сухопарых и волосатых (Кюрваль, Бланжи) и кинедов, белотелых и пухлых (епископ, Дюрсе). Это противопоставление имеет чисто морфологический характер (оно отнюдь не функционально, поскольку все либертены являются одновременно и активными, и пассивными содомитами). Однако постепенно, по мере того, как мы переходим от либертенов к их подручным, а от подручных к объектам разврата, портреты становятся все более ир-

реальными. Так мы оказываемся перед вторым типом садовского портрета: портретом жертвы (чаще всего это юная девушка). Этот портрет представляет собой абсолютно риторическое описание: это *топос*. Вот Александрина, дочка Сен-Фона; ее безнадежная глупость не позволяет Жюльетте довершить ее воспитание: “Самая обворожительная грудь, изящнейшие формы, свежайшая кожа, грациозность движений, ангельское личико, нежность сочленений, самый манящий, чарующий голос и масса романических бредней в голове”. Эти портреты очень культурны, они отсылают либо к живописи (“достойная живописца...”), либо к мифологии (“стан Минервы с прелестями Венеры”), что является удобным способом абстрагирования\*. В самом деле, хотя риторический портрет может быть достаточно пространством (ведь автор вовсе не равнодушен к таким портретам), он, однако, ничего не изображает — ни объект, ни воздействие этого объекта: он не передает зримого облика (не передает потому, что не хочет); он очень мало характеризует (изредка цвет глаз, цвет волос); он ограничивается перечислением анатомических элементов, каждый из которых совершенен; а поскольку это совершенство, как полагается в настоящем богословии, и есть само существо вещи, достаточно сказать, что тело совершенно — и оно будет совершенно. Уродство описывается, красота называется. Таким образом, эти риторические портреты пусты ровно в той мере, в какой они бытийственны; либерте-

\* Психологические характеристики, приводимые попеременно с физическими характеристиками, функционально мотивированы: если остроумие, интеллект, воображение являются природными данными настоящего либертена, то от полноценной жертвы требуются чувствительность, живость, романические мечтания, набожность. К тому же энергия существует для Сада в форме единого потока, который имеет в равной мере физические и моральные проявления: “Мы поддерживали ее экстаз... лаская ее всеми нашими физическими и моральными средствами”, говорит Жюльетта о Дюран. А также: “Я была на вершине блаженства, я жила в этот миг лишь одним глубоким чувством моего сладострастия”.

ны, хотя и поддаются некоторой типологизации, принадлежат все же сфере происшествия, поэтому они и нуждаются во все новых и новых портретах; жертвы же находятся в сфере бытия и потому могут быть представлены лишь через пустые знаки, через один и тот же неизменный портрет, который не изображает, а утверждает их. Итак, разбиение садовского человечества определяется не уродством и не красотой, а самой инстанцией дискурса, членящегося на портреты-изображения и портреты-знаки\*.

Это разбиение не тождественно социальному членению, хотя последнее и присутствует у Сада. Жертвы берутся из любых сословий, а если высокородные жертвы пользуются известным предпочтением, так это потому, что “благовоспитанность” является важнейшим возбудителем сладострастия\*\* по причине большего унижения жертвы: в садической практике всегда высоко ценится возможность подвергнуть содомии юного мальтийского рыцаря или дочь советника парламента. А если господа всегда принадлежат высшим классам (князья, папы, епископы, дворяне или богатые простолюдины), так это потому, что нельзя быть либертеном, не имея денег. Впрочем, деньги у Сада выполняют две различные функции. Сперва кажется, что они играют чисто практическую роль, делая возможными покупку и содержание серая: в качестве такого инструмента деньги не заслуживают ни почтения, ни презрения; остается лишь забота о том, чтобы их отсутствие не стало помехой либертинажу: так, в Обществе Друзей Преступления предусмотрена скидка для двадцати малоимущих людей искусства или литераторов, которым “общество,

\* Та же оппозиция и на уровне имен собственных. Либертены и их подручные наделены “реалистическими” именами, “правдивость” которых не смогли бы поставить под сомнение Бальзак, Золя и прочие. Жертвы же имеют театральные имена.

\*\* “Благовоспитанные девушки составляют особый класс сладострастия, наряду с мальчиками, распутными девицами и девственницами”.

в целях покровительства искусстваам, вознамерится оказать такую честь” (сегодня мы могли бы вступить в это общество за четыре миллиона старых франков в год). Но конечно же, в реальности деньги являются отнюдь не только инструментом: деньги — это почет, они однозначно указывают на лихоимства и преступления, позволившие их нажить (Сен-Фон, Минский, Нуарсей, четверо откупщиков из “120 дней”, сама Жюльетта). Деньги удостоверяют порочность и поддерживают наслаждение: поддерживают не тем, что обмениваются на удовольствия (у Сада “удовольствия” никогда не присутствуют “ради удовольствия”), а тем, что обеспечивают лицезрение нищеты. Садическое общество не цинично, оно жестоко; оно не говорит: “должны быть бедные, чтобы были богатые”; оно говорит наоборот: “должны быть богатые, чтобы были бедные”; богатство необходимо потому, что оно превращает бедственность в объект созерцания. Когда Жюльетта, по примеру Клервиль, забирается, чтобы насмотреться на свое золото и доходит в ликовании до экстаза, она видит перед собой не сумму возможных удовольствий, а сумму совершенных преступлений, всеобщую нищету, позитивным отражением которой является ее золото (сколько в одном месте прибавится, столько в другом месте убавится); иначе говоря, деньги обозначают не то, что на них приобретается (они не составляют *ценность*), а то, что ими отнимается (они образуют место разделения).

Таким образом, иметь — значит прежде всего мочь созерцать неимущих. Это формальное разделение, конечно, соответствует разделению на либертенов и на жертвы. Как мы знаем, это и есть два главных класса садовского общества. Это жесткие классы, из одного нельзя перейти в другой: социальное восхождение исключено. А между тем, это общество имеет глубинно воспитательный характер: перед нами общество-школа (и даже общество-интернат). Однако в случае господ и в случае жертв воспитание играет разную роль. Жертвы

иногда проходят через уроки либертинажа, но это, если можно так сказать, уроки техники (ежедневные уроки мастурбации в Силлинге), а не уроки философии; из школы переносится в маленькое сообщество жертв система наказаний, несправедливостей, лицемерных проповедей (прообраз этой системы — заведение хирурга Родена в “Жюстине”: одновременно и школа, и сераль, и вивисекторская лаборатория). В случае либертенов воспитательный проект имеет иные масштабы. Им необходимо достичь абсолютной степени либертинажа: Клервиль выступает в роли учительницы для Жюльетты, которая уже и так весьма продвинута, а Жюльетте, в свою очередь, поручается в качестве воспитанницы дочь Сен-Фона Александрина. В этой школе осваивают именно философию; воспитуемым же фактически оказывается не тот или иной персонаж, а читатель. Но в любом случае воспитание никогда не приводит к переходу из одного класса в другой: сколько бы раз Жюстина ни получала взбучку, она так и не выходит из своего жертвенного состояния.

В этом высоко кодифицированном обществе межклассовые переходы (без них не может обойтись даже самый неподвижный социум) обеспечиваются не посредством перемещения из класса в класс, а за счет целой системы промежуточных статусов, которые сами по себе также неподвижны. Вот как выглядит при максимальном развертывании иерархия садовского общества:

1) великие либертены (Клервиль, Олимпия Боргезе, Дельбен, Сен-Фон, Нуарсей, четверо откупщиков из “120 дней”, король Сардинии, папа Пий VI и его кардиналы, король и королева Неаполитанские, Минский, Бриза-Теста, фальшивомонетчик Ролан, Корделли, Жернанд, Брессак, различные монахи, епископы, советники парламента и т.д.);

2) старшие подручные; это как бы функционеры либертинажа; сюда относятся хранительницы преданий и великие сводни, как, например, Дювержье;

3) ассистенты; это своеобразные гувернантки или дуреньи, полу-служанки, полу-подданные (например, Лакруа, прислуживающая старому архиепископу Лионскому, подает ему одновременно чашку шоколада и свой зад), или же доверенные слуги — палачи либо сутенеры;

4) собственно подданные: они делятся на случайных (семьи, дети, попавшие в лапы к либертенам) и постоянных, которые составляют сераль; среди них надо различать основные жертвы, ради которых организуются те или иные сеансы, и “группу сопровождения”, члены которой непрерывно дежурят рядом с либертеном, чтобы в любую минуту облегчить или занять его;

5) последний класс составляют жены: это — парии.

Все эти классы связываются между собой только через практику либертинажа: иных отношений между индивидами разных классов не существует. Сами же либертены вступают в отношения друг с другом, и отношения эти могут строиться двояким образом: либо на основе контракта (контракт между Жюльеттой и Сен-Фоном очень детален), либо на основе пакта: пакт между Жюльеттой и Клервилем пронизан чувством самой пламенной дружбы.

Контракты и пакты заключаются навечно (“сия авантюра соединяет нас навсегда”) и вместе с тем могут быть расторгнуты в любую минуту: Жюльетта сбрасывает Олимпию Боргезе в жерло Везувия и отправляет свою соратницу Клервиль на тот свет с помощью яда.

Таковы главные установления садического социума: как видим, все они имеют фундаментом разделение общества на либертенов и жертвы. Однако мы еще не знаем, на чем основано само это, ставшее уже привычным, разделение: все различительные признаки обоих классов являются следствиями разделения, но не причинами его. Что же создает господина? и что создает жертву? С тех пор, как законы садического социума образовали то, что мы называем “сализмом”, принято считать, что определяющую роль в разделении на два класса играет

сама практика сладострастия, вынуждающая различать активных и пассивных участников. Действительно ли дело в этом? Чтобы получить ответ, мы должны теперь рассмотреть *praxis* данного общества, исходя из того, что всякая *praxis* сама по себе является смысловым кодом\* и может быть разложена на единицы и правила.

Сад — писатель “эротический”: мы слышим это постоянно. Но что такое эротизм? Эротизм — это всегда слово и только слово: ведь практика может быть эротически закодирована лишь в том случае, если она известна, то есть выговорена\*\*. Между тем наше общество никогда не высказывает никакой эротической практики — только желания, предвосхищения, контексты, намеки, двусмысленные сублимации: в результате эротизм для нас не может быть определен иначе как через постоянно аллюзивное слово. Если понимать эротизм таким образом, то Сад совсем не эротичен: как уже говорилось, у него никогда не бывает никакого “стриптиза”, этого сущностного выражения сегодняшней эротики\*\*\*. Все разговоры нашего общества об эротизме Сада совершенно неправомерны и крайне самонадеянны: мнения высказываются о системе, не имеющей никакого эквивалента в современном обществе. Различие состоит не в том, что садовская эротика преступна, а наша — безобидна; различие в том, что садовская эротика утверди-

\* Согласно Аристотелю, *praxis* — практическое умение, не производящее никакого изделия, отличного от действующего (в противоположность *poïesis*) — основана на сознательном выборе (*proaïresis*) между двумя возможными вариантами поведения: разумеется, уже здесь перед нами кодовая концепция *praxis*. То же представление о *praxis* как о языке мы обнаруживаем в современных концепциях стратегии.

\*\* Само собой разумеется, что эротический код вырабатывается не только в естественном языке, но и в языке изображений.

\*\*\* Приведем упоминавшееся выше исключение, единственный набросок садовского “стриптиза” (речь идет о юном Розе, которого доставили к Сен-Фону): “Расстегни его штаны, Жюльетта, задержи рубашку до поясницы, а штаны пусть сами собой приятно упадут пониже бедер: я безумно люблю, когда мне предоставляют зад таким образом”.

тельна, комбинаторна, тогда как наша — суггестивна, метафорична. Для Сада эротика начинается лишь тогда, когда начинают “*рассуждать о преступлении*” (“*raisonner le crime*”)\*: *рассуждать* — значит ораторствовать, философствовать, проповедовать, короче, накладывать на преступление систему естественного языка; но вместе с тем *рассуждать* — значит здесь также и составлять по определенным правилам комбинации из специфических актов сладострастия, в результате чего из этих последовательностей и групп образуется новый “язык”, уже не язык слов, а язык действий; “язык” преступления, или новый код любви, не менее разработанный, чем куртуазный код.

Садическая практика пронизана кардинальной идеей порядка: любые “беспорядочности” подлежат энергичному исправлению, сладострастие безудержно, но не хаотично (в Силлинге, например, всякая оргия неукоснительно прекращается в 2 часа ночи). Неисчислимы словосочетания, подчеркивающие сознательную выстроенность эротической сцены: *расположить группу, выстроить все это, исполнить новую сцену, составить из трех сцен сладострастное действие, образовать самую новую и самую распутную картину, сделать из этого маленькую сцену, все устроивается; или же наоборот: все позиции нарушаются, разрушить позиции, вскоре все переменялось, переменить позицию и т.д.* Обычно садовская комбинаторика определяется неким распорядителем (режиссером): “Друзья, — сказал монах, — внесем порядок в эти действия”, или: “Вот каким образом шлюха расположила группу”. Эротический порядок ни в коем случае не должен быть опрокинут: “Минутку, — сказала разгоряченная Дельбен, — секунду, подружки мои, наведем порядок в наших удовольствиях: чтобы доставлять наслаждение, они долж-

\* В пустынной Сибири Бриза-Теста повстречала лишь одного либертена, венгра Терговица: “Этот, по крайней мере, умел рассуждать о преступлении”.

ны быть жестко определены”; отсюда — весьма комическое сходство между наставлениями либертена и нотациями школьного учителя, поскольку сераль — это всегда маленький школьный класс (“Минутку, минутку, сударыни, — сказала Дельбен, стараясь восстановить порядок...”). Однако режиссер присутствует не всегда: иногда эротический порядок институционален; он зависит не от человека, а от обычая: либертенки-монахини из одного болонского монастыря практикуют коллективную фигуру, называемую “четки”, где распорядительницами выступают пожилые монахини, выдвигаемые поочередно на девять дней (в соответствии с девятидневными духовными упражнениями, отчего каждую распорядительницу именуют *патером*). Наконец, бывают и такие случаи, более таинственные, когда эротический порядок устанавливается сам собой — то ли по предварительным указаниям, то ли в силу коллективного предвидения нужной фигуры, то ли благодаря знанию структурных законов, требующих дополнить ту или иную начатую фигуру тем ли иным образом. Этот внезапно и по всей видимости стихийно возникающий порядок обозначается у Сада краткими ремарками: *сцена движется, картина устраивается*. В результате садическая сцена вызывает у нас сильное ощущение не то чтобы автоматизма, но игры по детально расписанному сценарию.

Эротический код состоит из единиц, которые были тщательно определены и поименованы самим Садом. Минимальная единица — *позиция* (posture); это наименьшая комбинация, какую можно вообразить, так как она охватывает лишь одно действие и телесную точку его приложения; количество возможных действий и возможных точек приложения отнюдь не бесконечно, поэтому нетрудно составить перечень возможных позиций, но мы не будем сейчас этим заниматься; следует лишь указать, что в этот первый перечень должны войти не только половые акты в собственном смысле слова (до-

зволненные и запрещенные), но также все действия и все места, способные воспламенить “воображение” либертена (и не всегда учтенные у Краффт-Эбинга), как то: осмотр жертвы, допрос жертвы, богохульство и т.д.; кроме того, к составным элементам позиции должны быть отнесены особые “возбудители”, как то: семейные узы (инцест или надругательство над супругой), социальная принадлежность (об этом говорилось выше), уродство, нечистоплотность, физиологические состояния и т.д. Поскольку позиции являются исходными единицами, они с неизбежностью повторяются и, следовательно, поддаются статистическому учету; после одной из оргий, которую Жюльетта и Клервиль устроили в пасхальные дни у монахов-кармелитов, Жюльетта подводит итог: она отдалась 128 раз одним способом, 128 раз другим способом, итого 256 раз, и т.д.\* Комбинация позиций составляет единицу более высокого ранга, называемую *операцией*. Операция требует нескольких исполнителей (по крайней мере, в наиболее частом случае); если операцию рассматривают как застывшую картину, как ансамбль одновременных положений, то ее называют *фигурой*; если же, наоборот, ее рассматривают как диахроническую единицу, как разворачивающуюся во времени последовательность положений, то ее называют *эпизодом*. Объем эпизода определяется временными ограничениями (эпизод — это то, что происходит от оргазма до оргазма); объем фигуры определяется пространственными принуждениями (все эротические места должны быть заняты одновременно). Наконец, расширения и чередования операций образуют самую крупную единицу этой эротической грамматики: “сцену” или “сеанс”. По завершении сцены вновь идет рассказ или рассуждение.

\* Воображение Жюльетты в высшей степени математично: так, например, она разрабатывает математизированный проект, имеющий целью развратить в геометрической прогрессии всю французскую нацию.

Все эти единицы подчиняются некоторым комбинационным — или композиционным — правилам. Исходя из этих правил, можно было бы легко осуществить формализацию эротического языка, аналогичную тем графическим “древесам”, которые разрабатываются нашими лингвистами: в общем, это было бы древо преступления\*. Алгоритмирование было отнюдь не чуждо и самому Саду, как можно видеть по истории № 46 из 2-ой части “120 дней Содома”\*\*\*. В садовской грамматике есть два главных правила: это, если угодно, регулярные процедуры, посредством которых повествователь мобилизует единицы своей “лексики” (положения, фигуры, эпизоды). Первое правило — правило исчерпания: в рамках одной операции должно быть одновременно использовано максимальное количество положений; тем самым предполагается, с одной стороны, что все присутствующие исполнители будут заняты в одно и то же время и, если возможно, в одной и той же группе (или, по крайней мере, в повторяющихся группах)\*\*\*; а с другой стороны — что у каждого субъекта будут эротически задействованы все места тела; группа — это своего рода химический цикл, в котором ни одна “валентность” не должна остаться свободной: таким образом, весь садический синтаксис оказывается поиском всеобъемлющей фигуры. Это сопрягается с паническим характером либертинажа: в либертинаже нет ни простоев, ни отдыха; когда связанная с ним энергия не может излиться в сцене или в проповеди, она проявляется в некоем “обычном режиме”: это “травля”, непрерывная череда мелких притеснений, которым либертен подвергает своих под-

\* “...Поскольку во всей этой авантюре присутствуют довольно изящные отрасли преступления...” (“Жюльетта”).

\*\* “Он заставляет испражниться девицу А и девицу Б; затем он заставляет Б...” и т.д.

\*\*\* Эта тенденция доведена до пароксизма в сцене, когда Броччани и Киджи (кардиналы Пия VI), Олимпия Боргезе, Жюльетта, статисты, обезьяна, индюк, карлик, ребенок и собака образуют единую группу, с трудом поддающуюся расширению.

данных. Второе правило действия — правило взаимности. Прежде всего, разумеется, всякая фигура может быть перевернута: так, Бельмор применяет некую комбинацию к девушкам, а Нуарсей варьирует ее, применяя ее к мальчикам (“повернем эту фантазию по-другому”). Но главное в том, что садовская грамматика не знает никаких твердо закрепленных функций (за исключением пытки). В садической сцене все функции переходят от партнера к партнеру, каждый может и должен быть поочередно агентом и пациентом, бичующим и бичуемым, копрофагирующим и копрофагируемым и т.д. Это правило имеет капитальное значение: во-первых, вследствие этого правила садовская эротика уподобляется строгому в формальном отношении языку, в котором существуют только классы действий, а не группы индивидов, и это существенно упрощает грамматику: субъектом действия (в грамматическом смысле термина) может с равным успехом быть либертен, подручный, жертва, супруга; во-вторых, оно заставляет отказаться от любых попыток найти основу разделения садического общества в специфике сексуальных практик (в нашем обществе все наоборот: мы всегда спрашиваем о гомосексуалисте, “активный” он или “пассивный”; у Сада же сексуальная практика никогда не используется для идентификации субъекта). А коль скоро каждый может быть и содомизирующим и содомизируемым, и агентом и пациентом, и субъектом и объектом, коль скоро удовольствие возможно и для господ и для жертв, необходимо искать в другом месте причину садического разделения, которую нам ранее не удалось обнаружить в этнографии садического общества.

На самом деле, за исключением убийства есть только одна привилегия, которой обладают все либертены и которую они ни с кем не делят ни в какой форме: это — слово. Господин — это тот, кто говорит, кто полностью располагает речью, объект — это тот, кто молчит, кто лишен всякого доступа к речи, поскольку не имеет даже

права воспринять слово господина (проповеди адресуются лишь Жюльетте и Жюстине, которая выступает в двойственном статусе: это жертва, наделенная правом повествования). Отрезанность от слова оказывается более абсолютным увечьем, нежели все эротические пытки. Конечно, есть жертвы — очень редкие — которые могут препираться по поводу своей участи, указывать либертену на его низость (г-н де Клори, м-ль Фонтанж де Дони, Жюстина), но это всего-навсего механические голоса, они играют в разворачивании либертенского слова подсобную роль. Одно лишь это слово свободно, не-предопределено, насыщено мыслью: оно полностью сливается с энергией порока. В садическом городе слово является, быть может, единственной кастовой привилегией, не терпящей никаких поблажек. Либертену подвластна вся речевая гамма — от безмолвия, в котором осуществляется глубинный, теллурический эротизм “тайной камеры”, до речевых конвульсий, которыми сопровождается экстаз; ему подвластны все узусы речи (команды и распоряжения, богохульства, проповеди, теоретизирование); он может даже (высшая степень владения!) делегировать речь (хранительницам предания). Дело в том, что речь полностью сливается с важнейшей способностью всякого либертена, которую Сад называет *воображением*: хочется даже сказать, что *воображение* — это садовское наименование *речевой деятельности*. Субъект действия, в наиболее глубинном определении, — это не тот, кто обладает властью или удовольствием; это тот, кто удерживает управление сценой и управление фразой (мы знаем, что всякая садовская сцена есть фраза особого языка), или иначе: управление смыслом. Если отвлечься от самого Сада и перейти на более общий уровень, то “субъектом” садовской эротики оказывается не кто иной, как (не может быть никто иной, кроме как) субъект садовской фразы: обе инстанции — инстанция сцены и инстанция дискурса — имеют единый исходный пункт, единое руководст-

во, ибо сцена — это тот же дискурс. Теперь мы лучше понимаем, на чем покоится и к чему устремлена вся эротическая комбинаторика Сада: ее исток и ее санкция находятся в сфере риторики.

В самом деле, два кода, код фразы (ораторский) и код фигуры (эротический) беспрерывно переходят друг в друга, образуют единую линию, по которой идет единым потоком энергия либертинажа: фраза может предварять фигуру, а может и следовать за ней\*, может даже иногда сопровождать ее\*\*: это безразлично. Короче, слово и позиция имеют одну и ту же ценность, они равнозначны: в обмен на первое можно получить второе: избранный председателем Общества Друзей Преступления Бельмор произносит перед собратями великолепную речь, после чего к нему подходит некий шестидесятилетний мужчина и, желая выразить Бельмору свой восторг и свою благодарность, “умоляет Бельмора предоставить ему свой зад” (в чем Бельмор не собирается ему отказывать). Посему нет ничего удивительного в том, что Сад, опережая Фрейда и вместе с тем переворачивая его, превращает сперму в субститут слова (а не наоборот) и описывает семейизвержение в тех же категориях, которые обычно применяются к ораторскому искусству: “Разряжение Сен-Фона было блистательным, смелым, увлеченным и т.д.”. Но, главное, смысл сцены может существовать лишь потому, что эротический код сполна использует саму логику языка, проявляющуюся благодаря синтаксическим и риторическим приемам. Именно фраза (ее сжатия, ее внутренние корреляции, ее фигуры, ее суверенное продвижение) высвобождает сюрпри-

\* Дальбен и Жюльетта: “И поскольку ласки ее становились все более пылкими, вскоре мы зажгли факелом философии огонь страстей”. И в другом месте: “Вы заставили меня умереть от наслаждения! Сядем и порассуждаем”.

\*\* “Во время разговора я хочу обрабатывать ваши члены... Я хочу, чтобы та энергия, которую они обретут под моими пальцами, передавалась моим речам, и вы увидите, как растет мое красноречие — не так, как росло красноречие Цицерона, разогреваемого возбужденной толпой, но так, как росло красноречие Сафо от семени Демофила”.

зы эротической комбинаторики и обращает паутину преступлений в древо чудес: “Он рассказывает, что знал человека, который вы..ал трех детей, которых он имел от своей матери, из которых один был женского пола, и ее он заставил выйти замуж за одного из ее братьев, и, таким образом, ..я ее, он ..ал свою сестру, свою дочь и свою сноху, а сына своего он заставлял ..ать свою сестру и свою тещу”. Комбинация (в данном случае комбинация родственных связей) представляет собой некое запутанное движение, в ходе которого мы теряем ориентацию, но которое затем внезапно складывается в единый рисунок и проясняется: начав с разрозненных действующих лиц, то есть с невятной реальности, мы, прогулявшись по фразе — и именно благодаря фразе, — выходим к конденсированному инцесту, то есть к смыслу. Предельно заостряя, можно сказать, что садическое преступление существует лишь в меру вложенного в него количества языка — и не потому, что это преступление грезится или рассказывается, а потому, что только язык может его построить. Сад, например, говорит однажды: “Дабы объединить инцест, адюльтер, содомию и святотатство, он входит в зад к своей замужней дочери с помощью облатки”. Сжатость второй половины фразы становится возможной благодаря наличию репертуара преступлений в первой половине: из чисто констатирующего высказывания вырастает древо преступления.

Итак, в конечном счете весь Сад держится на садовском письме. Задача, которую садовское письмо разрешает с неизменным триумфом, состоит в том, чтобы взаимно контаминировать эротику и риторику, слово и преступление, внезапно вводить в цепь условностей социального языка подрывные эффекты эротической сцены, при том, что вся “ценность” этой сцены почерпнута из языковой казны. Это хорошо заметно на том уровне, который обычно именуется стилистическим. Мы знаем, что в “Жюстине” любовный код метафоричен: в этом

романе говорят о миртах Цитеры и розах Содома. В “Жюльетте”, напротив, эротическая номенклатура носит совершенно откровенный характер. Подлинный смысл такой эволюции Сада заключается, конечно, не в огрублении языка, а в выработке иной риторики. Сад постоянно прибегает к тому, что можно было бы назвать метонимическим насилием: он совмещает в одной синтагме разнородные фрагменты, взятые из двух или более сфер языка, разделенных непреодолимым общественно-нравственным табу. Вот, например, Церковь, украшенный стиль и порнография: “Да, да, монсеньер”, — говорит распутная Лакруа старому архиепископу Лионскому (тому самому, который любит подкрепляться шоколадом), — “и Ваше Высокопреосвященство может видеть, что, открывая перед ним лишь ту часть, которую Оно пожелало, я предоставляю для Его либертенского почтения самую очаровательную девственную ж..у, какую только можно найти для поцелуя”\*. Разумеется, здесь перед нами вполне традиционное покушение на социальные фетиши (королей, министров, священников и т.д.), но не только на них: это также и покушение на устоявшиеся классы письма: преступная контаминация охватывает все стили дискурса: повествовательный, лирический, моральный, максимум, мифологический топос. Сегодня к нам приходит знание о том, что языковые трансгрессии обладают по меньшей

\* Бесчисленные варианты того же приема: папские страсти, министерский зад, всерьез обработать ж..у первосвященника, содомизировать свою учительницу, и т.д. (прием, подхваченный Клоссовски: трусики Инспекторши). При этом может использоваться правило согласования времен, создающее для сегодняшнего французского читателя дополнительный комический эффект: “Je voudrais que vous baisassiez le cul de mon Lubin” (“Мне хотелось бы, чтобы вы запечатали поцелуй на ж..е моего Любена”). — Сослагательное наклонение Subjonctif создает ощущение маркированной литературности. — *Примечание переводчика.* Может показаться, что мы возлагаем на Сада ответственность за эффекты, которых он исторически не мог предвидеть; надо ли объяснять, что Сад для нас — не исторический индивидуум, а мифический “автор”, или, еще точнее, “повествователь”, принимающий на хранение все смыслы, которые время вкладывает в его дискурс.

мере таким же оскорбительным воздействием, как и нравственные трансгрессии, и, следственно, “поэзия”, являющаяся по своей природе специфическим языком языковых трансгрессий, оказывается вечной диверсанткой. С этой точки зрения, садовское письмо не просто поэтично; Сад еще и сделал все для того, чтобы эту поэзию нельзя было приручить: обычная порнография никогда не сможет включить в себя мир, существующий лишь как письмо, а общество никогда не сможет признать такое письмо, которое структурно связано с преступлением и с сексом.

Так вырисовывается неповторимость садовского творчества — и одновременно проясняется запрет, которому оно подверглось. Город, порожденный Садам и описанный нами в качестве “воображаемого” города, с его временем, его нравами, его населением, его практикой — весь этот город целиком зависит от слов: не потому, что он является творением романиста (случай, мягко говоря, банальный), а потому, что внутри самого романа находится другая книга, текстовая книга, сотканная из чистого письма и определяющая все то, что происходит “воображаемым образом” в первой книге: не рассказать о событиях, а рассказать о том, как рассказывают — вот задача садовского романа. Эта фундаментальная ситуация письма находит предельно ясное выражение в самой фабуле “120 дней Содома”: мы знаем, что весь садический город, сконцентрированный в замке Силлинг, обращен к *истории* (или группе историй), которую торжественно излагают по вечерам жрицы слова, хранительницы преданий\*. Это верховенство рассказа подчеркивается очень строгим протоколом: все расписание дня подчинено центральному событию, которым является вечерний сеанс рассказов: к нему готовятся, все должны на нем присутствовать (за исключением тех, кому предстоят активные действия ночью); зала собра-

\* Жюльетта также именуется хранительницей преданий.

ний представляет собой полукруглый театр, в центре которого возвышается кафедра хранительницы преданий, этот трон слова; под сенью кафедры сидят объекты разврата: они находятся в распоряжении господ, которым захотелось бы опробовать с ними те ситуации, о которых повествует хранительница; эти жертвы имеют двойственный статус, весьма характерный для Сада: они представляют собой одновременно единицы эротических фигур и единицы речи, которая разворачивается над их головами: вся эта двойственность уже коренится в их роли *примеров* (примеров грамматических и примеров практических): практика следует за словом и полностью определяется словом: делается то, что было сказано\*. Без творящего слова никакой разврат, никакое преступление не смогли бы вымыслиться, развиваться: книге должна предшествовать книга; хранительница преданий — единственное “действующее лицо” книги, потому что единственная драма здесь — слово. Первая из хранительниц предания — Дюкло — единственное существо, удостоенное почитания в либертенском мире: в ней почитаются *одновременно* и преступление, и слово.

И, сколь ни странным это может показаться на первый взгляд, именно исходя из чисто *литературной* природы садовского творчества, мы лучше всего постигаем определенную подоплеку запретов, наложенных на это творчество. Довольно часто моральное осуждение Сада преподносится под видом эстетического отвращения, далекого от всякой патетики: Сад объявляется *монотонным*. Хотя любое творчество неизбежно представляет собой некую комбинаторику, общество, в силу старого романтического мифа о “вдохновении”, не терпит никаких признаний этого факта. Однако Сад поставил общество именно перед этим фактом: он открыл (во всех значениях слова) свое творчество (свой “мир”) как

\* Преступление лежит совершенно в той же плоскости, что и слово: когда рассказчицы дойдут до убийственных страстей, сераль обезлюдет.

внутреннее пространство языка, осуществил то самое соединение книги и критики на книгу, о котором позднее будет говорить Малларме. Но это не все; садовская комбинаторика (с которой никак нельзя отождествлять, вопреки бытующим утверждениям, комбинаторику *всей* эротической литературы) может показаться монотонной лишь в том случае, если мы по собственной воле передвинем наше чтение с садовского дискурса на “реальность”, которую он, как предполагается, воспроизводит или воображает: Сад скучен лишь в том случае, если мы фокусируем наше внимание на сообщаемых преступлениях, а не на игре дискурса.

Точно так же и в случае, когда, отбросив разговоры о монотонности, нам прямо говорят о “чудовищных гнусностях” “омерзительного автора” и в итоге запрещают Сада по моральным соображениям (как это сделало наше правосудие) — и в этом случае отторжение Сада вызвано нежеланием войти в единственно существующий садовский мир — мир дискурса. Между тем, на каждой странице своих писаний Сад дает нам доказательства своего заведомого “ирреализма”: то, что происходит в романах Сада, абсолютно баснословно (в буквальном смысле слова), то есть невозможно; или, точнее, невозможности денотата обращаются в возможности дискурса, ограничения меняются местами: денотат отдается в полное распоряжение Саду; Сад, как и всякий рассказчик, может раздуть денотат до баснословных размеров; но зато знак, в силу своей принадлежности к дискурсу, остается незыблем, с ним приходится считаться. Например, Сад, в пределах одной сцены, увеличивает число экстазов либертена до полной невозможности: так оно и должно быть, если автор хочет вместить много фигур в один сеанс: лучше увеличить число экстазов, чем число сцен: ведь экстазы являются денотативными единицами и, следовательно, ничего не стоят, а сцены являются единицами дискурса и, следовательно, стоят дорого. Будучи писателем, а не реалистическим автором, Сад всег-

да отдает предпочтение дискурсу над денотатом; он всегда выбирает *семиозис*, а не *мимезис*; то, что он “воспроизводит”, непрерывно деформируется смыслом, и мы должны читать Сада именно на уровне смысла, а не на уровне денотата.

Но, разумеется, этого как раз и не делает общество, налагающее запрет на Сада: оно слышит в садовском творчестве лишь зов денотата; для этого общества слово — не более, чем стеклянное окно, выходящее на реальность; в представлениях этого общества, на которых основываются его законы, творческий процесс состоит всего из двух элементов: “реальности” и ее выражения. Таким образом, юридическое осуждение творчества Сада основано на определенной литературной системе, и эта система есть система реализма: согласно этой системе, литература “воспроизводит”, “изображает”, “подражает”; согласно ей, предметом суждения является соответствие между подражанием и образцом: суждение будет эстетическим, если образец трогателен, поучителен, — и юридическим, если образец чудовищен; наконец, согласно этой системе, подражать — значит убеждать, побуждать. Школярские представления — за которые, однако, берет на себя ответственность целое общество с его институтами. Жюльетта, “гордая и откровенная в свете, нежная и покорная в удовольствиях”, бесконечно соблазнительна; но меня соблазняет бумажная Жюльетта, хранительница историй, которая предстает субъектом речи, а не субъектом “реальности”. Жюльетта и Клервиль реагируют на эксцессы Дюран следующей многозначительной фразой: “Я внушаю вам страх? — Страх! нет: но ты для нас немыслима”. Немыслимая в реальности — пусть даже в воображаемой реальности — Дюран (как и Жюльетта) становится вполне мыслимой, лишь только она переместится с уровня фабулы на уровень дискурса. Функция дискурса действительно состоит не в том, чтобы “внушить страх, стыд, зависть, впечатление и т.д.” — но в том, чтобы помыс-

лить немыслимое, то есть не оставить ничего за пределами слова, не оставить за миром ничего неизреченного: кажется, именно таков девиз, определяющий жизнь всего садовского города, от Бастилии, где жизнью Сада было слово, и до замка Силлинг, являющего собой не святилище разврата, а святилище “истории”.

## Приложения

### *Даты жизни маркиза де Сада<sup>1</sup>*

*...Злоключения, выпавшие на мою долю, заставляют порядочных людей относиться ко мне с уважением и интересом...*

Сад, 12 нивоза, VI года.

1740

2 июня. — В Париже, на улице Конде появляется на свет Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад, отцом которого был Жан-Баттист-Жозеф-Франсуа граф де Сад, королевский наместник в провинциях Бресс, Бюже, Вальморе и Жэ, посланник при дворе кельнского курфюрста (впоследствии посол в России), а матерью — Мари-Элеонора де Майе-Брезе де Карман, фрейлина принцессы де Конде, которой она приходилась к тому же родственницей.

3 июня — Ребенок окрещен в церкви Сен-Сюльпис местным викарием Ле Ваше\*.

1745—1750

Донасьен-Альфонс-Франсуа находится в городе Соман в доме аббата д'Эбрей, своего дяди по отцу. Аббат д'Эбрей (автор книги “Жизнь Петрарки”) взял на себя первоначальное обучение мальчика.

\* Первоначально родители хотели назвать своего сына Донасьеном-Альдонсом-Франсуа, однако же второе, древнее провансальское имя — Альдонс — оставалось неизвестным в Париже, так что священник, по всей видимости не расслышав хорошенько второе имя, написал: “Альфонс”.

1750

Сад возвращается в Париж, с тем чтобы продолжить занятия в школе иезуитов, Коллеж д'Аркур. Помимо прочего, к мальчику приставляется отдельный наставник, аббат Амблэ.

1754

Маркиз де Сад (которого тогда еще не называли графом, поскольку в семье де Сад титул маркиза принадлежал старшему сыну, а титул графа — отцу) поступает в кавалерийское училище.

1755

5 декабря. — Ему присваивают звание младшего лейтенанта королевского пехотного полка.

1756—1763

Де Сад принимает участие в сражениях Семилетней войны. Ему присваивается звание корнета карабинеров (14 января 1757 года) и затем капитана Бургундского кавалерийского полка (21 апреля 1759 года).

1763

15 марта. — Сад уходит в отставку в чине кавалерийского капитана.

17 мая. — В церкви Святого Роха с благословения короля, королевы и королевской фамилии совершается бракосочетание между маркизом де Садом и Рене-Пелажи Кордые де Лонэ де Монтрей (родившейся в 1741 году), старшей дочерью господина де Монтрей, президента налоговой палаты.

29 октября. — Сад заключается в башню Венсеннского замка за разврат в доме свиданий.

13 ноября. — Его выпускают на свободу (продолжительность первого заключения — пятнадцать суток).

1764

Май. — Де Сад наследует место королевского генерального наместника в провинциях Бресс, Бюже, Вальроме и Жэ при парламенте Бургундии, принадлежавшее ранее его отцу.

7 декабря. — Донесение полицейского инспектора Марэ: “Я бы настоятельно советовал г-же Бриссо<sup>2</sup>, не вдаваясь притом в подробные объяснения, отказывать [маркизу де Саду], если тот потребует у нее девицу легкого поведения для забав в доме свиданий”.

1765

Ноябрь. — Приехав в свое поместье Лакост вместе с танцовщицей Бовуазен, он выдает ее за жену.

1767

24 января. — Смерть графа де Сад. Донасьен-Альфонс-Франсуа наследует сеньориальные права в Лакосте, Мазане, Сомане и земле Ма-де-Кабак вблизи от Арля.

20 апреля. — Сад прибывает в Лион вместе с Бовуазен.

27 августа. — В Париже родится Луи-Мари граф де Сад, старший сын маркиза.

16 октября. — Донесение инспектора Марэ: “Вскоре мы снова услышим об ужасных поступках графа [так!] де Сада, который всячески старался уговорить девицу Ривьер из Оперы стать его любовницей, предложив ей за это двадцать пять луидоров в месяц. В свободные от спектакля дни она должна была проводить время с

де Садам в его доме для увеселений<sup>3</sup> в Аркее. Помянутая девица ответила отказом”.

1768

3 апреля (Святая Пасха). — В девять часов утра на площади Виктуар маркиз де Сад, “одетый в серый сюртук, с охотничьим ножом на поясе и с тростью в руке... встречает некую нищенку в возрасте около тридцати шести лет. Женщину эту звали Роза Келлер. Она согласилась сесть в фиакр вместе с маркизом, который привез ее в свой дом в предместье Аркей. Там, принудив Розу раздеться, маркиз неоднократно избивал женщину плетью с узелками на концах. Затем он натер пострадавшие части тела мазью, в состав которой входил белый воск, предложил исповедать ее и, принеся Розе завтрак, запер ее в комнате на два оборота. Однако же женщине удалось выпрыгнуть в окно. Оглашая предместье громкими стенаниями, она отправилась в полицейский участок, где и подала крайне преувеличенную жалобу”.

7 апреля. — Роза Келлер отказывается от своей жалобы в обмен на компенсацию в размере 2.400 ливров.

12-30 апреля. — Заключение Сада в замке Сомюр (продолжительностью 18 дней).

30 апреля. — Несмотря на отказ Розы Келлер от своих претензий, инспектор Марэ, выполняя приказ уголовного суда Ля Турнель, забирает Сада из замка Сомюр с тем, чтобы поместить его в крепость Пьер-Ансиз, неподалеку от Лиона.

Конец апреля — начало мая. — Заключение Сада в крепости Пьер-Ансиз (продолжительностью около месяца).

2 июня. — Его переводят в Консьержери.

10 июня. — Советник парламента Жак де Шаванн допрашивает Сада. Верховный Суд ратифицирует коро-

левское помилование, так что Саду присуждается лишь штраф в 100 ливров.

27 июня. — В Париже родился Донасьен-Клод-Арман кавалер де Сад, второй сын маркиза.

1770

23 августа. — Сад снова поступает в Компьене на службу в чине майора, который он получил 16 апреля 1767 года.

1771

13 марта. — Сад получает звание полковника от кавалерии.

17 апреля. — В Париже родилась Мадлен-Лаура, дочь маркиза.

Август—декабрь. — Сад вместе со своей женой и свояченицей, мадемуазель Анн-Проспер де Лонэ, канонессой, находится в Лакосте.

1772

15 января. — Сад приглашает некоего местного дворянина на премьеру своей комедии, которая состоялась 20 января в замке Лакост.

Середина июня. — Вместе со своим лакеем Латуром Сад отъезжает из Лакоста в Марсель с целью изыскания денежных средств.

27 июня. — В 10 часов утра де Сад (“человек с полным красивым лицом, одетый в серый фрак на голубой подкладке, жилет и розовые панталоны”, со “шпагой, охотничьим ножом и тростью”) вместе со своим лакеем поднимается в комнату девицы Борелли, по прозвищу Мариетт; комната находилась на третьем этаже дома (нынешний адрес которого — улица Обань, № 15бис), где их ждали еще три девицы. Действую-

- щие лица: Сад, Латур, Мариетт (23 года), Роза Кост (18 лет), Марианетта Ложье (20 лет), Марианна Лаверн (18 лет). Действия: активная и пассивная флагелляция [бичевание], анальный секс, от которого девушки, если верить их словам, отказались; прочие удовольствия, не уточненные в протоколе. Употребление анисовых конфет со шпанской мушкой, предложенных Садом.
- 9 часов утра. — Де Сад посещает Маргариту Кост (19 лет). Предложение маркиза заняться содомией, от которого она, по ее словам, отказалась; те же самые анисовые конфеты.
- 30 июня. — Жалоба Маргариты Кост начальнику полиции. “Мучаюсь в течение нескольких дней болями в желудке”; она считает себя отравленной упомянутыми конфетами.
- 1 июля. — Жалоба от четырех других проституток, которые страдают от болей в желудке. Они делают вид, что возмущены поведением своих клиентов, облыжно обвиняя их в гетеросексуальной содомии.
- 4 июля. — Выносится постановление об аресте де Сада и Латура.
- 11 июля. — Обыск в замке Лакост. Обвиняемые скрылись оттуда за несколько дней до этого. (Мадемуазель Анна-Проспер де Лонэ последовала за маркизом де Садом в его бегстве. Смятение, с которым она выслушала вести, полученные из Марселя, открывает мадам де Сад глаза на истинную природу отношений ее сестры и мужа).
- 3 сентября. — Решение королевского прокурора в Марселе: “маркиз де Сад и его слуга Латур, вызванные на суд по обвинению в отравлении и содомии, на суд не явились и осуждаются заочно”. Сада и Латура приговорили к публичному покаянию перед дверью кафедрального собора; затем их должны были отвести на площадь Святого Людовика “с тем, чтобы на эшафоте отрубить помянутому де Саду голову, а помянутого

Латура повесить на виселице (...) затем тела де Сада и Латура должны быть сожжены, а прах их развеян по ветру (...)”.

- 11 сентября. — Постановление парламента в Провансе, утверждающее решение суда от 3 сентября.
- 12 сентября. — Чучела де Сада и Латура подвергнуты казни и сожжены на площади Проповедников в Эксе.
- 2 октября. — Мадемуазель де Лонэ возвращается в Лакост к своей сестре.
- 27 октября. — Сад приезжает в Шамбери.
- 8 декабря. — По приказу короля Сардинии, герцога Савойского, Сад вместе со своим слугой арестован в Шамбери. Арест произведен, главным образом, из-за настоятельных просьб тещи Сада, госпожи де Монтей, которую маркиз прозвал “свиным рылом”.
- 9 декабря. — Сада отправляют в Миоланскую крепость.

## 1773

- 30 апреля. — Ночью с 30 апреля на 1 мая маркиз бежит из Миоланской крепости вместе со своим лакеем Латуром и еще одним заключенным, бароном Алле де Сонжи. Бегству помогает мадам де Сад, которая в течение уже нескольких дней находится в окрестностях Миолана. (Продолжительность этого заключения 4 месяца и 20 дней).

## 1774

- В течение всего этого года Сад находится в замке Лакост: он должен соблюдать крайнюю осторожность, ибо над ним постоянно висит угроза ареста.

## 1775

- Февраль—июль. — Обвинение в похищении и совраще-

нии трех девушек, родом из Лиона и Вены, еще более осложняет положение маркиза.

11 мая. — Анна Саблоньер, по прозвищу Нанон, служившая в замке горничной, беременная от маркиза де Сада, разрешается дочерью в местечке Куртезон; дочь прожила только три месяца.

Август—декабрь. — Под именем графа де Мазан Сад путешествует по Италии.

1776

Январь—конец июня. — Сад приобретает в Италии множество антикварных предметов.

4 ноября. — Он возвращается в Лакост.

1777

14 января. — В Париже умирает мать маркиза.

17 января. — Отец Катрин Трийе, по прозвищу Жюстина, которая работала в замке служанкой, с громкими криками требует вернуть ему его дочь и стреляет в Сада из пистолета, но промахивается.

8 февраля. — Маркиз и маркиза де Сад, прибыв в Париж, узнают о смерти графини де Сад.

13 февраля. — Инспектор Марэ арестовывает Сада, над которым продолжает висеть обвинение провансальского парламента. Сада помещают в Венсеннский замок. (Очевидно, этот арест был произведен по настоянию тещи маркиза).

1778

3 января. — Смерть дяди маркиза, аббата де Сад.

27 мая. — Король разрешает Саду подать кассационную жалобу на постановление от 11 сентября 1772 года.

20 июня. — Сад, сопровождаемый инспектором Марэ,

прибывает в Экс (продолжительность заключения в Венсенском замке 1 год и 4 месяца).

30 июня. — Сад появляется перед высшим судом Прованса: в качестве его защитника выступает господин Жозеф-Жером Симеон; суд кассирует решение марсельского суда.

15 июля. — Несмотря на это постановление, Сад в сопровождении полицейского эскорта препровождается из города Экса в Венсеннский замок.

16 июля. — По пути в Валанс Саду удастся бежать.

18 июля. — Сад прибывает в Лакост.

26 августа. — Инспектор Марэ, получив [от короля] с помощью мадам де Монтрей "lettre de cachet"<sup>4</sup>, берет Сада под стражу в замке Лакост.

7 сентября. — Сад прибывает в Венсеннский замок. В течение первых трех месяцев нового заключения он страдает от строгих порядков, что, в конце концов, влечет за собой настоящий психоз, связанный с цифрами<sup>5</sup>.

1779

Январь. — Тюремный режим несколько смягчается: Саду разрешают пользоваться бумагой и чернилами, а также два раза в неделю выходить на прогулку.

Январь—ноябрь. — Галантная переписка Сада с Мари-Дороте де Руссэ, урожденной де Сен-Сатюрнен-лез-Апт, подругой детства маркиза.

1781

13 мая. — Мадемуазель де Лонэ умирает от оспы.

13 июля. — Мадам де Сад впервые получает разрешение навестить в тюрьме своего мужа.

Октябрь. — Посещения мадам де Сад прерываются из-за свирепых приступов ревности со стороны ее супруга. Для того, чтобы избавить маркиза от

каких-либо подозрений, мадам де Сад уходит в монастырь.

1782

12 июля. — Сад завершает работу над тетрадью, содержащей “Неизданное размышление” и “Диалог между священником и умирающим”.

1784

25 января. — В замке Лакост умирает мадемуазель де Руссэ, исполнявшая обязанности гувернантки.

29 февраля. — Сада переводят в Бастилию. (Продолжительность его содержания в Венсенском замке с 7 сентября 1778 года: 5 лет, 5 месяцев и 3 недели).

1785

22 октября. — Сад начинает работу над романом “120 дней Содомы”, который он завершает в течение 37 дней. Манускрипт представляет собой рулон бумаги длиной около 20 метров.

1787

8 июля. — Сад завершает работу на повестью “Несчастья добродетели”, написанной в течение 15 дней.

1788

7 марта. — С 1 по 7 марта Сад пишет новеллу “Евгения де Франваль”.

1 октября. — Завершив рукопись “Коротких историй, новелл и фавлю”, Сад составляет “Систематический каталог” своих трудов.

1789

2 июля. — Сад кричит из окна своей тюрьмы, будто бы в Бастилии убивают заключенных, призывая толпу прийти к ним на помощь.

4 июля. — Вследствие такой скандальной выходки Сада переводят в Шарантон, запретив ему при переезде захватить с собой наиболее важные книги и рукописи, среди которых, в частности, находилась и рукопись романа “120 дней Содомы”, обнаружившаяся лишь к началу XX века. (Продолжительность заключения в Бастилии 5 лет и 5 месяцев).

14 июля. — Взятие Бастилии. Комната Сада подвергается ограблению, причем многие бумаги выбрасываются или уничтожаются.

1790

2 апреля. — После выхода в свет декрета Учредительного собрания об отмене “lettre de cachet” от 13 марта Сад выходит из Шарантона на свободу. (Продолжительность заключения там — 9 месяцев).

3 апреля. — Мадам де Сад, находящаяся в монастыре Сент-Ор, отказывается принять своего мужа.

9 июня. — Мадам де Сад добивается в Парижском суде полного развода с мужем.

17 мая. — Сад, поддерживающий дружеские отношения с литератором и актером Бутэ де Монвелем, рассчитывая через него облегчить себе доступ в мир театра, читает перед труппой Комеди Франсэз пьесу “Доверчивый супруг”.

14 июля. — Он перебирается к жене президента де Флёрье, которая, по-видимому, была его любовницей с апреля по август.

25 августа. — Сад вступает в связь с молодой актрисой, которая до конца дней маркиза останется его любовницей — Мари-Констанс Ренель по прозвищу “Ду-

шенька" (бывшая жена Балтазара Кенэ, от которого у нее был ребенок).

Сентябрь. — "Комеди Франсэз" единогласно принимает к постановке пьесу "Софи и Дефран, или Мизантроп из-за любви".

1791

Публикация романа "Жюстина, или несчастья добродетели".

22 октября. — В Театре Мольера ставится драма де Сада в трех актах "Граф Окстьерн, или последствия распутства", написанная еще в Бастилии. В конце спектакля публика требует автора, [Сад] поднимается на сцену, чтобы поприветствовать ее.

24 ноября. — Сад читает в "Комеди Франсэз" пьесу "Жанна Лэне, или Осада Бове".

1792

5 марта. — "Якобинская клика" вызывает в Итальянской комедии провал комедии [Сада] под названием "Соблазнитель", "поскольку она написана одним из бывших...".

...июль. — В письме к своему адвокату Гоффриди в город Апт Сад предлагает соорудить надгробие Лауре, прародительнице его рода.

17 октября. — Сад, который с конца 1790 года состоял членом якобинской секции Пик (район Вандомской площади), назначается в ней комиссаром по организации кавалерии.

30 октября. — Собрание секции Пик назначает Сада комиссаром государственного Совета по здравоохранению. (После проведения совместной проверки состояния парижских больниц три комиссара — Сад, Карре и Дезормо — составят отчет, помеченный 26 февраля 1793 года).

1793

13 апреля. — Сада назначают присяжным революционного трибунала.

5 мая. — Сад испытывает значительные финансовые затруднения. Вот что он, к примеру, писал Гоффриди: "Сокращайте, урезывайте, отдавайте под заклад, продавайте, делайте адские, дьявольские усилия, но пришлите денег, которые мне необходимо иметь немедленно, иначе я окажусь в крайне бедственном положении!".

22 мая. — К этому дню Сад уже является председателем секции Пик.

...май. — Вместо того, чтобы отомстить родителям жены, Сад "делает так, что их вносят в список невиновных лиц".

2 августа. — Сад, отказываясь поставить на голосование "ужасное, бесчеловечное" постановление, уступает место председателю своему заместителю.

15 ноября. — Сад читает в Конвенте "Прошение секции Пик, адресованное представителям французского народа", автором которого он являлся.

1 или 2 декабря. — Оставаясь председателем секции, Сад спасает коменданта Рамана, находившегося под следствием по обвинению в содействии бегству нескольких эмигрантов. Сад вручает Раману 300 ливров и паспорт, с тем чтобы он смог покинуть Париж.

5 декабря. — По приказу полицейского департамента Парижской Коммуны Сад арестован в доме № 871 на улице Ферм-де-Матюрэн; его обвиняют в "модерантизме" (чрезмерной умеренности) и препровождают в тюрьму Мадлонетт.

1794

13 января. — Сада переводят в тюрьму Карм.

22 января. — Перевод в тюрьму Сен-Лазар.

- 23 марта. — “Франсуа Альдонз Донасьен Луи Сад, возраст — 54 года, рост — 5 футов, 2 дюйма и 1 линия, нос средний, рот маленький, подбородок округлый, волосы светло-серого цвета, лицо овальной формы, лоб высокий и открытый, глаза — светло-голубые”.
- 27 марта. — По болезни Сада переводят в лазарет Пикпюс.
- 15 октября. — Сада выпускают на свободу (продолжительность заключения в застенках революции — 10 месяцев и 6 дней).

1795

Выход в свет “Философии в будуаре”.

1796

- 13 октября. — Сад продает свой замок вместе с имением Лакост народному избраннику Роверу (из Боннье) за 58 400 ливров.

1797

Выход в свет “Новой Жюстины, или несчастий добродетели, с приложением истории Жюльетты, ее сестры”.

Июнь-октябрь. — Сад вместе с мадам Кенэ находится в Провансе, где устраивает свои дела.

1798

- 10 сентября. — Сад и мадам Кенэ, оставшись безо всяких средств к существованию, вынуждены расстаться до лучших времен. Сад находит себе пристанище в местечке Бос у одного из своих бывших арендаторов.

1799

Февраль. — Сад “принимает участие в театральных представлениях” в Версале, зарабатывая 40 су в день. Он живет на каком-то чердаке, вместе с Шарлем, сыном мадам Кенэ.

13 февраля. — Сад пишет Гофриди, в частности, следующее: “Я кормлю и воспитываю ребенка, что, по сути дела, является лишь незначительной расплатой за труды, заботы и затраты, которые взяла на себя его несчастная мать, ведь она, несмотря на ужасную погоду, каждый день обегает заимодателей (...) с тем, чтобы их успокоить (...). Поистине, эта женщина — настоящий ангел, ниспосланный мне самим небом (...)”.

13 декабря. — Новая постановка “Оксьерна, или несчастий распутной жизни” (подзаголовок изменен). Сам Сад играет в ней роль Фабриция.

1800

3 января. — Сад “без одежды, без жалкого гроша в кармане” вынужден лечь в версальскую больницу.

Июль. — Выход в свет памфлета “Золоэ и два ее спутника”, направленного против Жозефины Богарнэ, Бонапарта и его окружения. Первый консул, фигурирующий в этой книжице под именем “барон д’Орсек”, приказывает полиции взять Сада под негласный надзор.

Октябрь. — Выход в свет “Любовных преступлений”.

1801

Выход в свет “Послания Автора “Любовных преступлений” к Вильтерку, бездарному писаке”.

6 марта. — Обыск у издателя Массе, в результате которого найдены рукописи Сада и, в частности, рукопись

“Жюльетты”. Сад, находившийся во время обыска у Массе, арестован как автор “Жюстины, или несчастий добродетели” — “самого скабрезного из всех непристойных романов”.

5 апреля. — Сада заключают сначала в тюрьму Сент-Пелажи, а впоследствии переводят в Бисетр.

1803

27 апреля. — Сада переводят в клинику для душевнобольных Шарантон (продолжительность заключения в тюрьмах Сент-Пелажи и Бисетр: 1 год и 12 дней). Сад остается в Шарантоне до самой смерти, то есть еще 11 лет и 8 месяцев.

1805

По всей видимости, начиная с этого года в приюте Шарантон начинает действовать театр, режиссером которого был Сад; это оказалось возможным благодаря доброжелательности директора приюта, бывшего аббата Кульмье, подружившегося с Садом.

1806

30 января. — Сад пишет завешание, первые три параграфа которого (до сих пор не опубликованные, также как и параграф четвертый) составляют щедрое распоряжения в пользу мадам Кенэ.

1807

25 апреля. — Сад переписывает набело роман под названием “Дни Флорбель, или разоблаченная природа, с приложением мемуаров аббата де Модоза и приключений Эмилии де Вольнанж, служащих доказательством [выдвинутым] утверждениям”. Это

десятитомное произведение предается огню (видимо, около 1820 года) в присутствии префекта полиции Делава по просьбе сына Сада, Армана. Сохранились только “Заметки” к роману, не изданные до сих пор.

1808

2 августа. — Руайе-Коллар, главный врач клиники, пишет донесение министру полиции. Он, в частности, говорит об опасности присутствия Сада в клинике, требуя перевода последнего в какое-то другое место. Внимание министра обращается на скандальный характер театральных постановок маркиза, сожителяствующего к тому же с мадам Кенэ, “которую он выдает за свою дочь”.

11 сентября. — Получив донесение Руайе-Коллара, министр полиции (знаменитый Фуше), решает перевести Сада в замок Ам, однако же, после вмешательства мадам Дельфины де Таларю и господина де Кульмье, министр отменяет свое решение.

1809

9 июня. — Старший сын маркиза, лейтенант Луи-Мари де Сад, убит в Италии из засады.

1810

23 мая. — Сад посылает пригласительные билеты на спектакль 28 мая королеве Голландии и фрейлинам ее двора.

7 июля. — Смерть маркизы де Сад.

18 октября. — Господин де Кульмье получает приказ министра внутренних дел, требующий усилить надзор за маркизом де Садом, “страдающим опаснейшей формой безумия”.

24 октября. — В своем человеколюбивом ответе минист-

ру господин де Кульмье отказывается взять на себя роль “тюремщика”.

1812

19 апреля и 3 мая. — Тайный совет Людовика XVIII решает оставить Сада в Шарантоне.

1813

6 мая. — Театральные постановки в Шарантоне запрещаются специальным министерским указом.

1814

2 декабря. — Посетив больного отца, Арман де Сад препоручает его заботам господина Рамона, заместителя главного врача. “Дыхание маркиза, шумное и тяжелое, все более и более затрудняется. В 10 часов вечера, едва утолив жажду, без единого стога, старик умирает”. Согласно заключению доктора Рамона, смерть наступила от “закупорки легких (астматического характера)”. (Морис Эне).

1814

3 декабря. — Донесение директора приюта Шарантон Его Превосходительству господину Бенью, начальнику королевской полиции: “Милостивейший государь, вчера, в 10 часов вечера, в приюте Шарантон скончался маркиз де Сад, который был переведен сюда по приказу министра полиции в месяце флореале XI года. Здоровье маркиза постоянно ухудшалось, хотя окончательно он слег в постель лишь за два дня до смерти, наступившей достаточно быстро вследствие лихорадочного воспаления (...)”. Завещание де Сада вскрывают в присутствии господина Фино, нотариуса

в Шарантон Сен-Морис, Армана де Сада, мадам Кенэ и ее сына Шарля.

4 или же 5 декабря. — Погребение маркиза де Сада. Его последняя воля была нарушена: тело маркиза подвергли вскрытию; господин Ленорман [видимо, местный священник] не был извещен, и Сад был похоронен по христианскому обряду на кладбище в Сен-Морис.

1884

15 марта. — В Париже родился Морис Эне, человек, сделавший возможным научное исследование жизни и творчества Сада: он умер за работой 26 мая 1940 года, в Вернуйе, не дожив недели до 200-летнего юбилея маркиза.

## Библиография первых и оригинальных изданий произведений маркиза де Сада

### Прижизненные издания

#### “Жюстина” и “Жюльетта”

1. “Жюстина, или несчастья добродетели”. Голландия<sup>1</sup>, Ассоциация книготорговцев, 1791, 2 тома. Фронтиспис Шери.
2. “Жюстина, или несчастья добродетели”, третье (возможно четвертое) издание, исправленное и дополненное, Филадельфия, 1794, 2 тома. Фронтиспис и пять эротических гравюр.
3. “Жюстина, или несчастья добродетели”. Лондон, 1797, 4 тома. Шесть гравюр эротического содержания. Более полное по сравнению с предыдущим.
4. “Новая Жюстина, или несчастья добродетели”. Сочинение, украшенное фронтисписом и сорока гравюрами. Голландия, 1797, 4 тома. Это окончательное издание, за которым следуют еще 6 томов, озаглавленных:
5. “Новая Жюстина, или несчастья добродетели, продолженная Историей Жюльетты, ее сестры”. Произведение с фронтисписом и ста гравюрами. 6 томов. (Всего в этом коллективном издании было сто гравюр эротического содержания.).

### Другие произведения, за исключением политических брошюр

6. “Алина и Валькур, или философский роман.” Написан в Бастилии за год до Французской Революции. Четырнадцать гравюр. Сочинение гражданина С. Париж, Жируар, улица Бу-дю-Монд 47, 1793. 8 томов.
7. “Философия в будуаре”. Посмертное сочинение автора “Жюстины”. Лондон, за счет Общества [книготорговцев], 1795, 2 тома. Фронтиспис и пять эротических гравюр.
8. “Окстьерн, или несчастья от распутства”, драма в прозе в трех действиях Д.-А.-Ф.С. Поставлена в театре Мольера в Париже в 1791 году и в Версале на сцене Драматического Общества 22 фри-

мера 8 года республики. Версаль, книготорговец Блэзо, улица Сатори, Восьмой год [1800].

9. “Преступления из-за любви, или иступление страстей”. Исторические и трагические новеллы, которым предпосылаются Мысли о романах; с гравюрами. Сочинение Д.-А.-Ф.Сада, автора “Алины и Валькура”. Париж, Массе, VIII год [1800].
10. “Автор “Преступлений из-за любви” Вильтерку, бульварному писаке”. Париж, Массе, IX год [1801].
11. “Маркиза де Ганж”. Париж, книготорговец Бешэ, набережная Августинианцев № 63, 1813, 2 тома.

### Политические брошюры

12. “Обращение парижского гражданина к французскому королю”. Типография Жируара, улица Бу-дю-Монд.
13. “Соображения о способе применения закона”. Типография на улице Сен-Фиакр № 2, 1792.
14. “Проект петиции секции Пик Национальному Конвету”. Типография секции Пик, улица Сен-Фиакр № 2.
15. “Речь на празднике, устроенном секцией Пик в честь Марата и Ле Пеллетье, произнесенная Садам, гражданином этой секции и членом Народного Общества секции Пик, улица Сен-Фиакр № 2”.
16. “Петиция секции Пик представителям французского народа”. Типография секции Пик, улица Сен-Фиакр № 2. Подписано: “редактор Сад”.

### Оригинальные посмертные издания

17. “Дорси, или причуды судьбы. Неизданная новелла маркиза де Сада, опубликованная по рукописи со справкой об авторе [подписано А.Ф. (Анатоль Франс)]”. Шаравэ, Париж, 1881.
18. “120 дней Содомы, или школа либертинажа маркиза де Сада”. Опубликовано впервые по авторской рукописи с научными примечаниями доктора Евгения Дюрена. Париж, Клуб библиофилов, 1904. [Очень неточная версия рукописи Сада.]
19. “Короткие истории, новеллы и фавлио Донасьена-Альфонса Франсуа де Сада”. Опубликовано впервые по неизданной авторской рукописи Морисом Эне. Париж, за счет Общества Философского романа. 1926. [Это сочинение состоит из 24 небольших вещей.]
20. “Диалог между священником и умирающим Донасьена-Альфонса Франсуа маркиза де Сада”. Опубликовано впервые по неизданной авторской рукописи Морисом Эне, с его предисловием и примечаниями. [Париж], Стендаль и компания, 1926.

21. "Злоключения добродетели". Текст восстановлен по оригинальной авторской рукописи и опубликован впервые с введением Мориса Эне. Париж, Фуркад, 1930.
22. "120 дней Содома, или школа либертинажа маркиза де Сада". Критическое издание, осуществленное по авторской рукописи Морисом Эне. Париж, С. и К., по подписке среди библиофилов, 1931–1935, 3 тома.
23. "Орел, мадемуазель...". Письма Сада, впервые опубликованные по авторским рукописям с предисловием и комментарием Жильбера Лели. Париж, Издательство Жорж Артиг, 1949.
24. "Тайная история Изабеллы Баварской, королевы Франции". Опубликовано впервые по неизданной авторской рукописи Жильбером Лели (с его предисловием). Париж, Галлимар, 1953.
25. "Венсенские башенные часы". Неизданные письма, опубликованные и прокомментированные Жильбером Лели. Париж, "Аркан", 1953.
26. "Дневники (1803—1804)". Опубликовано впервые по неизданной авторской рукописи Жильбером Лели (с его предисловием и комментарием). Париж, Корреа, 1953.
27. "Господин из камеры № 6". Неизданные письма (1778—1784). Публикация и комментарий Жоржа Дома; предисловие Жильбера Лели. Париж, Жюйар, 1954.
28. "Сто одиннадцать примечаний к "Новой Жюстине". Коллекция "Пустырь", № IV [Париж, 1956].

## Комментарии

### Жильбер Лели. Садо-мазохизм Сада

1. Перевод статьи Жильбера Лели выполнен по изданию: G. Lely. Sade. Etudes sur sa vie et sur son oeuvre. P., Gallimard, 1967, p. 15–24.

Публикуемый краткий текст известного знатока творчества Сада, впервые опубликовавшего ряд его рукописей (см. Библиографию), Жильбера Лели, интересен тем, что в нем соединились разные виды адвокатуры, с помощью которых тексты Сада преодолевали сознательную и бессознательную цензуру современников.

Во-первых, маркиз де Сад объявляется человеком, "одаренным гениальной научной фантазией", фактическим создателем научной сексопатологии. В предисловии к "Процветанию порока" Лели выражается еще более определенно: "В области дескриптивной сексопатологии маркиз де Сад на сто лет опередил Краффт-Эбинга и Хэйвлока Эллиса; также есть основание полагать, что он предвосхитил ... психоанализ Фрейда" (Sade. Les prosperités du vice. P., U.G.E. 1969, p. 11). В подтверждение называются инфантильный генезис неврозов и амбивалентность сексуальных влечений. Остановливаясь далее на "благо-родстве научной задачи, поставленной им перед собой еще в Бастилии", Лели считает возможным говорить об открытиях Сада в области гормонологии и патологической анатомии.

Впервые аналогичные идеи стали высказываться применительно к Саду докторами медицины Дюреном, Ойленбургом, Кабанесом и Якобусом в связи с первой публикацией в 1904 году "120 дней Содома".

Дюрен писал об этом произведении как о "непревзойденном по своей полноте даже самим Краффт-Эбингом описании всех когда-либо наблюдавшихся половых отклонений" (E. Dühren. Neue Forschungen über den Marquis de Sade und seine Zeit. Berlin, Max Harwitz, 1904, S. 278–279.), рекомендуя его читателю как подлинный учебник по психосексопатологии. Причем это была не просто первая попытка описания всего корпуса сексуальных аномалий, но ее автор, якобы, "полностью осознавал выдающееся научное значение этого подхода" (ibid., S. 382). Саду приписывалось также непревзойденное по реализму освещение антисоциальных проявлений полового вырождения ("предвосхищающее тезис Ломброзо о внутренней связи преступления и сексуальной распущенности" (ibid., S. 367)).

"120 дней Содома" предлагались специалистам в качестве незамеченного научного пособия (в чем, собственно, и заключалась цель данной формы адвокатуры): "Ни одна из современных научных работ не содержит такого количества наблюдений в этой области, как основное

произведение Сада с его 600 приведенными случаями. В этой своеобразной рукописи следует видеть итог его исследований в данной области... нужно сделать ее доступной по меньшей мере узкому кругу врачей, юристов, антропологов, психологов и других серьезных исследователей" (ibid., S.438).

Между тем следует согласиться с И. Балавалем, написавшим в предисловии к "Философии в будуаре", что предложенное Садом разделение страстей, или вкусов, на четыре вида (простые, бичевания, жестокие, убийства) опиралось на классификацию наказаний в уголовном кодексе его времени, а вовсе не было позаимствовано из современной ему ботаники или зоологии.

Во-вторых, "божественный маркиз" оправдывается тем, что он признается основателем новой морали. Здесь Лели также не является пионером, подобные идеи высказывались еще в XIX веке, например, известным поэтом А. Суинберном. Вот цитата из его письма Уатту: "Я от всего сердца оплакиваю неизлечимое ослепление, удерживающее вас в цепях богини Добродетели. Оно мешает вам по достоинству оценить Великого Человека, которому я обязан возможностью хоть в слабой мере выразить свое отношение к Богу и к людям. Мне не остается ничего иного, как считать, что Бог ожесточил ваше сердце. Иначе нельзя объяснить вашу нечувствительность к поразительным, пусть и несколько необычным, достоинствам Маркиза. Но, как предсказал этот великий автор, настанет время, когда в каждом городе в его честь будут воздвигнуты статуи и у их подножья ему будут приноситься жертвы".

Мнение Суинберна в начале XX века уже не было уникальным, его разделяли Г. Аполлинер (Сад — "самый свободный из людей") и М. Эне, видевший в Саде "противника любого нравственного конформизма", основателя морали свободы: "Многогранное творчество этого либертена посрамит его хулителей, упорно продолжающих видеть в нем вульгарного распутника".

Лели приводит в поддержку тезиса об особой нравственности Сада ряд аргументов биографического порядка. Вот некоторые из них. "Если бы Сад был двойником жестоких героев своих романов, во время Террора он без труда нашел бы средства доставить себе "самые изощренные удовольствия" (D.A.F. de Sade. *Morceaux choisis*. P., Seghers, 1948, p.XXXII). Но ничего похожего не случилось: "Вспомним его неслыханно благородное поведение по отношению к Монтреям [теща и тесть маркиза, виновные в его заключении в Венсенне и Бастилии — М.Р.]. Не забудем также, как с бесстрашием надо было обладать, чтобы в эпоху Террора публично выступить против смертной казни." (ibid. p.XXXI). Не случайно и то, что Наполеон не нашел лучшего места для содержания "самого пронзительного героя в истории мысли", чем сумасшедший дом.

В-третьих, Сада оправдывает "поэтический реализм", роднящий его с Шекспиром. Чрезмерность его героев делает его своеобразным писателем-рекордсменом, выдлившим в чистом виде квинтэссенцию литературы, возможно даже ее изнанку. Лели ссылается на Жюльетту, которая, пройдя искусы Содома, затмевает всех героинь мировой

литературы; более того, она посрамляет их, будучи их негативным слепком. "В наготе Жюльетты, как в драгоценной вазе, соединены все женщины истории и литературы..." (Sade. *Les prospérités...*, p.12-13).

Общей для всех трех Садов — ученого, моралиста и литератора — является проблематика желания, что признает сам Лели: "... полуденная песнь Сада — это *желание* (курсив Лели — М.Р.); именно язык желания превращает садовскую "феерию пыток" в музыку" (ibid. p.13). Желание играет роль общего знаменателя потому, что именно через него нормальная наука соприкасается с нормальной литературой на сцене представления. Сада заставляют желать или признаваться, делая его письмо исповедальным (а посредством техники признания, как известно, формируется как "научная" сексопатология, так и проза великих авторов, замещающих хаос — то, что Сад называл природой — конечной размеренностью желания).

Здесь интересно привести противоположное суждение Мишеля Фуко, разводящего Сада с проблематикой желания, признания, вождения: "Пол у маркиза де Сада еще лишен нормы, внутренне присущего ему правила, которое он мог бы сформулировать исходя из собственной природы, он еще подчинен бесконечному закону власти, которая знает лишь свой собственный закон. Если ему [полу — М.Р.] удастся шутки ради навязать себе строго упорядоченную последовательность дней, это упражнение приводит его к тому, что пол становится не более чем чистой точкой единственной и нагой суверенности: бесконечного права всецельной извращенности. Кровь поглотила пол". (M.Foucault. *La volonté de savoir*. P., Gallimard. 1976, p.196).

Суверенность, на которой основывают свое понимание философии Сада Клоссовски, Бланшо, Батай, противопоставляют желанию, будучи акоммуникативной и необмениваемой, главное же, по сути своей не знающей объекта. Текст Жильбера Лели четко очерчивает фон, на котором — отталкиваясь от которого — развились упомянутые стратегии истолкования Сада. Они были реакцией на все указанные виды "приручения" этого рекордсмена литературной неприемлемости.

2. Евгений Дюрэн, немецкий историк медицины, в частности психиатрии и сексопатологии. Под его редакцией в 1904 году были, правда, с многочисленными текстологическими погрешностями, впервые опубликованы "120 дней Содома". Автор ряда работ о маркизе де Саде и нравах эпохи Просвещения.

## Пьер Клоссовски. Сад и Революция

1. Перевод выполнен по книге П. Клоссовски "Мой ближний, Сад", выпущенной издательством Сей в 1967 году. (P.Klossowski. *Sade mon prochain*. P., Éditions du Seuil, 1967, pp.57-87). Чтобы лучше понять текст эссе "Сад и Революция", нужно остановиться на общем контексте интерпретации Клоссовски, в частности, еще на двух разделах книги: "Набросок системы Сада" и "Философ-злодей".

В "Наброске системы Сада" разбирается его критика просветительской установки на обосновывающий себя разум. Сад был не только узником короля и Революции, он был еще и узником своего века, века

Разума. Это проявлялось в том, что даже принципиально частному, отклоняющемуся жесту он придает форму всеобщности, говоря о нем на языке природы. При этом он неустанно подчеркивал, что претензия разума на всеобщность — одна из частных претензий, не более того: “на выбор философии вдохновляет темперамент, и сам разум, на который ссылались современные ему философы, есть также разновидность страсти” (ibid., p.92). В эпоху Сада считалось, что религия — это обман, а на самом деле поступками людей движут интересы; механицизм устранял из человековедения душу и все ее проявления: сострадание, жертвенность, любовь. В одном пункте Сад восстал против механистической психологии: человек, по Саду, это распадающаяся страсть, он действует не в силу своего интереса, а как раз против него, без какого-либо расчета извлечь выгоду. Отсюда его мораль вечного движения, санкционирующая одну из главных особенностей садистского сознания — право на запрещенный опыт. “Истинный атеист не привязывается ни к какому предмету, он следует своим побуждениям, вечному движению природы, творения которой в его глазах есть лишь пена” (ibid., p.107). Отсюда знаменитый афоризм Сада: “Нас возбуждает не объект похоти, а сама идея зла”.

Подобная этика связана с его общей концепцией природы, природы как бесконечно злого начала, криминального настолько, что все попытки жестоких персонажей Сада сравняться с ней в преступности неизбежно терпят крах. Здесь намечается явное расхождение Сада с Гольбахом, Гельвецием и Ламетри: естественное состояние перестает видаться нормативным раем, напротив, оно видится сгущением, концентрацией всех ужасов общественного состояния. Жизнь, таким образом, становится козвестенственной смерти.

Эти идеи развиваются Клоссовски в его статье “Философ-злодей”. Сама оппозиция честный философ/философ-злодей, поясняет он, восходит к Платону. Честным философом является тот, кто отдается мышлению как своей единственной страсти, а философом-злодеем (либертееном в понимании Сада) — тот, кто следует самой сильной страсти, “которая в глазах честного человека свидетельствует о недостатке бытия” (ibid., p.18); в свою очередь философ-злодей видит в мышлении не более чем “замаскированную бессильную страсть” (ibid.).

Главным органом всеобщности был в эпоху Сада логически структурированный язык, воспроизводивший “нормативную структуру человеческого рода” (ibid., p.19), а также то, что Клоссовски называет “субординацией жизненных функций”, обеспечивающей сохранение и продолжение рода. Стремление человечества к воспроизводству само воспроизводится с помощью языка. В противоположность этой всеобщности разумного языка Сад намеревается ввести принцип контр-всеобщности, “обеспечивающий обмениваемость частных случаев перверсии, которые, в соответствии с существующей нормативной всеобщностью, определяются отсутствием логической структуры. Так возникает у Сада понятие интегральной извращенности” (ibid., p.19). Контрвсеобщность предшествует универсальности разума, из чего неизбежно следует, что атеизм, провозглашенный нормативным разу-

мом во имя свободы и суверенности человека, по Саду, предопределен превращать всеобщность в контрвсеобщность. “Итак, атеизм, высший акт нормативного разума, должен учредить царство тотального отсутствия нормы.”

Выбирая в качестве доказательства акта разума, каковым является атеизм, перверсивный, лишенный логики способ чувствования и действия, Сад сходу ставит под вопрос, во-первых, универсальность разума, который становится неискоренимо противоречивым, а во-вторых, последовательность человеческого поведения, поскольку последнее вытекает из субординации жизненных функций” (ibid., p.19-20).

Как разум приходит к атеизму? Решая, что понятие Бога разрушительно для его автономии: произволом понятия Бога оправдывается любой поведенческий и прочий произвол. Разум Просвещения претендует сам обеспечивать субординацию функций вместе с вытекающей из нее системой норм, это — нормообразующий разум, разум-законодатель. А как быть с явлениями, которые противоречат сохранению человеческого рода, что с ними делать? В этом вопросе берет начало критика Садам нормативного разума. “Для Сада этот [просвещенческий — М.Р.] атеизм является ни чем иным, как перевернутым монотеизмом, очищенным от внешнего идолопоклонства; он почти ничем не отличается от деизма, поскольку он — так же как ранее понятие Бога — гарантирует ответственность нашего “я”, самотождественность индивида. Для того, чтобы атеизм своими силами очистился от этого перевернутого монотеизма, он должен стать интегральным. Но каким будет в таком случае человеческое поведение?” (ibid., p.20-21). Язык всеобщего бессильно уяснить содержание перверсии, полиморфной чувственности, иначе как негативно, с помощью вытекающих из разума негативных понятий. С этим связаны выпады Сада против благонамеренных атеистов. Сад выступает против любого нормативизма, в том числе нормативизма разума, не терпящего по отношению к себе ничего внешнего. Сам разум, заявляет он, есть внешнее. “Интегральный атеизм знаменует собой конец антропоморфного разума” (ibid., p.21). Несмотря на это Сад парадоксальным образом не отказывается от понятия природы, в котором инвестированы интересы разума. Философия Сада окончательно порывает с разумом лишь в “описываемых им отклоняющихся действиях” (ibid., p.21). Его главные герои — философы-злодеи, абсолютно частные существа, воплощенное противоречие. “Ибо если эти последние и соотносят свои продиктованные аномалией действия с нормативным разумом, то лишь для того, чтобы разрушить автономию разума, который служит им предметом насмешек...” (ibid., p.21). Автономии разума недостаточно для осмысления отклоняющегося поведения, которое есть вызов норме как таковой. “Атеизм, если его подвергать осмыслению с точки зрения явлений, которые отвергает разум, — парадоксально передает Клоссовски мысль Сада, — укрепляет существующие институты, основывающиеся на антропоморфных нормах” (ibid., p.22).

Письмо Сада не дескриптивно, а интерпретативно: “истолковывая отклоняющийся акт как случай совпадения чувственной природы и разума, Сад одновременно унижает разумное с помощью чувственного

и “разумную” чувственность с помощью перверсивного разума... перверсивный разум использует ее [свою цензуру — М.Р.], чтобы подвести “разумную” чувственность под свою карающую санкцию” (ibid., p.22). Сад подводит моральное оправдание под сам отклоняющийся поступок, “отклоняющийся в глазах самого Сада, поскольку разум — будь то даже атеистический разум — не может узнать в нем себя” (ibid., p.23). Сад говорит о своем атеизме как о способе мыслить поступки, продиктованные перверсивностью. Мысля перверсивное действие в русле нравственного императива, он тем самым переосмысливает саму перверсивную чувственность. Создается парадоксальная ситуация: нарушается субординация жизненных функций, но разум торжественно легитимирует случившееся!

Сад не стремится дать положительную понятийную характеристику перверсии или чувственно-полиморфного. Трансгрессия у него одерживает вверх над выводами, которые логически вытекают из его атеистических деклараций; фактически утверждается примат трансгрессии над любой легитимацией, в том числе легитимацией самого Сада.

“Интегральный атеизм утверждает, что вместе с абсолютным гарантом принципа идентичности [Богом или Человеком — М.Р.] исчезает сам этот принцип, следовательно, морально и физически устраняется ответственность “я”. Первое следствие отсюда: всеобщая проституированность. Последняя является составной частью интегральной извращенности, основывающейся на несубординации жизненных функций и отсутствии нормативного авторитета рода” (ibid., p.25).

“Трансгрессия предполагает существующий социальный порядок, поддержание норм... которые делают эту трансгрессию необходимой. Так что всеобщее проституирование имеет смысл лишь по причине присущего индивидуально телу качества моральности... иначе она потеряла бы всякую притягательность...” (ibid., p.25). То же относится и к самой перверсии: содомия, например, носит вызывающий характер лишь по отношению к сохраняющейся гетеросексуальной норме, нормативной дифференциации полов. Если все станут философиями-злодеями, “цель” Сада, якобы, будет достигнута, зато и садизм исчезнет, его вызов институционализуется.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Сад описывает существующие социальные нормы и институты как определяющие саму форму перверсий. Трансгрессия не объясняется у Сада его пониманием природы, не объясняется ничем всеобщим. Кроме того, перед нами разрушающая сама себя природа, объяснимая только из уже совершенной трансгрессии, в целях ее легитимации. Трансгрессивность стремится по сути к одному: возобновляться и уничтожать норму. Она необходима независимо от интерпретации, более или менее “благонамеренной”.

Сад является критиком представления о перверсивности как о патологии; он заимствует свою терминологию из моральной психологии и поэтому не может считать предтечей психоанализа. В “120 дней Содома” перверсии называются страстями; в соответствии с принци-

пом механики они идут от простых к сложным, образуя генеалогическое древо пороков и преступлений.

С другой стороны, система Сада, открывая возможность более широкой чувственной полиморфности, может утверждаться лишь путем разрушения условий воспроизводства человеческого рода: “этой способ существования освящает смерть рода в индивиде. Верификацией бытия является приостановка самой жизни... экспроприация жизненных функций. Экспроприация собственного тела другого становится, таким образом, смыслом этого способа существования” (ibid., p.30).

Перверсивный жест не имеет кода, не может быть сообщаем. Не либертен вспоминает о нем, а он напоминает о себе сам. Из того, что он умопостигает, связан с предствлением и суждением, следует, что он что-то интерпретирует: “чтобы эксплицировать этот жест, Сад интерпретирует предполагаемую интерпретацию извращенного человека, беря за основу то, что ему в этом жесте удается расшифровать” (ibid., p.33). За точку отсчета при этом берется абсолютная перверсивность, содомия. Именно содомия, а не гомосексуальность, подчеркивает Клоссовски. На основе гомосексуализма может возникнуть институт, что много раз в истории общества и случалось (браки гомосексуалистов в Швеции). Напротив, содомия — чистая контрвсеобщность, антиразмножение, “смерть рода в индивиде” (ibid., p.32). “...будучи подобием акта размножения, она одновременно является насмешкой над ним. Действительно, вывод за пределы органической специфичности индивидов, этот жест закрепляет жизненный принцип метаморфозы одних существ в другие, который воспроизводит интегральную извращенность и постулирует всеобщую проституированность как окончательное применение атеистического принципа.”

В своем стремлении расшифровать перверсивный жест Сад задает код перверсивности. Он принимает отклоняющийся жест за природную данность, нуждающуюся всего лишь в рационализации (в результате чего норма по необходимости истолковывается как патология, ведь природа, по Саду, безнадежно стремится к самоупразднению). Сад строит логически структурированный язык перверсивности, которая — по отношению к этому языку — представляется лишенной логики. Тут обоюдный процесс: язык “заражается” перверсивностью, зато и перверсивность обретает свой язык, артикулируется. Атеизм проявляется здесь в том, что извращение говорит на языке разума, имитирует “здравый смысл”. Интегральный атеизм невозможен без говорящей на языке разума перверсивности, но извращенность его героев не может стать интегральной без такой рационализации, без имитации нормы, без отказа от маргинального статуса.

Поэтому Сад строит для своих персонажей искусственные пространства: вне обычных домов свиданий, публичных домов и прочих мест, где сексуальность существует на кромке общественной жизни. В этом Сад — противоположность Казановы и других современных ему эротических авторов: его не интересует то, как общество локализует сексуальность, так как само общество для него есть извращение, явление маргинальное, которое, нуждаясь в объяснении, не может слу-

жить принципом объяснения. То, что обычно именуется извращением, есть для него норма, а так называемая норма случайна. Всеобщая протитуированность есть и принцип объяснения мира, и его инфраструктура; любая ее локализация и регламентация случайны. Всеобщее оказывается внешним проявлением контрвсеобщности: вместо того, чтобы критиковать общественные институты, Сад показывает, что они сами по себе “обеспечивают торжество пerversии”.

Сад изобрел тип извращенца, который говорит от имени всеобщего из своего частного жеста; частный жест лишает речь закрепленного за ней содержания, требует постоянного изобретения иной речи, которая только и обеспечивает всеобщий статус частного жеста.

Динамизм письма Сада связан с тем, что жест утверждается как норма через напряженное повторение. Дискурс извращенца остается софистическим в той мере, в какой не преодолевается понятие нормативного разума. Акт убеждения может состояться лишь в том случае, если собеседник в свою очередь преодолел в себе это понятие. Персонаж Сада добивается обращения собеседника не благодаря аргументам, а благодаря соучастию.

Соучастие есть противоположность убеждения в соответствии со всеобщими рассудочными нормами... для взаимного понимания соучастники не нуждаются ни в какой аргументации (ibid., p.35). Интернальный атеизм возможен только в действии; пассивность равносильна восстановлению нормы и всеобщего в обычном (не обязательно традиционном религиозном) смысле.

Для вступления в садовскую академию нужны два качества: кандидат должен видеть в своем отклоняющемся образе действий проявление атеизма; атеист должен определенным образом действовать. Основная добродетель “академика” — апатическая аскеза, на практике доказывающая, что “душа”, “сердце”, “сознание” являются случайным соединением одних и тех же импульсов. “Поскольку наши побуждения устрашают нас в форме “испуга”, “сострадания”, “ужаса”, “угрызений совести” или посредством образов совершенных поступков, каждый раз, когда представления будут иметь тенденцию занимать место действий (и таким образом не давать им осуществиться), нужно замещать отталкивающие представления самими действиями” (ibid., p.38-39). Повторение действий совершается в состоянии абсолютной апатии, ибо только апатия делает агрессию перманентной (отсюда критика чувственного начала у Сада, включая удовольствие). Как можно, задается вопросом Сад, хладнокровно повторить совершенный в состоянии опьянения поступок? Не нужно ли в качестве предвестника удовольствия иметь в себе образ этого поступка?

Самосознание, по Саду, хрупкая структура, постепенно развившаяся под институциональным и нормативным давлением, продукт игры устрашающих и возмущающих импульсов. Иногда эти силы выводят субъекта за скобки, заставляют его работать против себя, разлагая структуру сознания, иногда в состоянии *бездействия* они, напротив, восстанавливают сознание, которое сразу же осуществляет *цензуру* действия и представляет разложение субъекта как угрозу родовым нормам. Мораль, напоминает Сад, питается не действиями, а пред-

ставлениями. “Устранение чувственного должно одновременно предотвратить возвращение к моральному сознанию, но, предотвращая такое возвращение, оно, по-видимости, устраняет и мотив трансгрессии: ведь вся ценность... содомизма заключается в сознательной трансгрессии норм, представленных в сознании. С искомым выходом за свои пределы на практике связана дезинтеграция сознания с помощью мысли. Последняя восстанавливает первоначальную расстановку импульсивных сил, представленную в сознании субъекта *в перевернутом виде*... это область *вне-себя-бытия, бытия-вне-сознания*, в котором злодей может поддерживать себя лишь повторением одного и того же акта. Итак, сладострастная жестокость — явление не чувственного порядка... (ibid., p.41). С ней связана только трата сил на содомизм, это *беспольное* удовольствие.

Мое тело — продукт языка общества, оно мыслимо как “мое” только внутри этого языка. Мое отождествление с телом способствует продолжению рода. “Из языка институтов я узнал, что тело, в котором “я есть”, “мое” (ibid., p.46). Величайшее преступление, с этой точки зрения, — отделение моего тела от моего “я”, созданного работой языка. Обладание несобственным телом — признак явной пerversивности: извращенец ощущает тело другого как принадлежащее ему, а свое тело как чужое, “чуждое той неподчиненной функции, которая доминирует в нем. Для того, чтобы иметь возможность ощущать воздействие своего насилия на другого, он пребывает прежде всего в этом *другом*...” (ibid., p.47).

Опыт Сада исключает обычную форму передачи; он полностью основан на повторении, которое ведет к экстазу, невыразимому в языке. Экстаз как последовательное отрицание наррации неопишимо: “... актуализация отклоняющегося акта в письме соответствует апатичному повторению этого акта, осуществленному независимо от описания. Актуализуя акт, письмо вызывает экстаз мысли...” (ibid., p.51). Сад пользуется языком для выражения своего опыта потому, что сам этот опыт изначально структурирован языком, построен в языке. Но бросаемый обществу вызов есть вызов и языку общества. Описывать аберрацию (отклоняющийся акт) значит описывать невозможное, т.е. фактически не описывать, а создавать из ничего: “*аберрация описана там* потому, что *воспроизведен соответствующий поступок*” (ibid., p.52). В процессе воспроизведения в язык вторгается не-язык: так, текст Светония, в противоположность тексту Сада, не воспроизводит действия Калигулы, не поддерживает собой их возможность. Письмо же маркиза де Сада содержит в себе возможность системы внеморальных действий (т.е. чисто случайной системы) и, более того, это письмо есть их *единственный* свидетель.

“Во всяком случае оно [письмо Сада — М.Р.] указывает на внеположное, и это внеположное вовсе не есть интерьер “будуара”, в котором философствуют, это — интерьер самой философии, которую *ничто* не отделяет от будуара... Итак, приостановка языком самого себя составляет уникальность творчества Сада... он приглашает нас выйти и посмотреть, что не *сходится в тексте* в то время, как *все содержится исключительно в тексте*...” (ibid., p.54).

2. *Ультрамонтанцами* (от лат. *ultra montes* — за горами, т.е. в Риме) называли себя сторонники течения в католицизме, зародившегося в 15 веке; ультрамонтанцы отстаивали идею неограниченной верховной власти римского папы, его право вмешиваться в светские дела любого государства.

3. *Граф Шароле, принц де Бурбон-Конде, Шарль* (умер в 1760 г.) — принц крови, известный своими любовными похождениями и жестокостью. Насильно привозил в свой дом для увеселений женщин и держал их там взаперти. Евгений Дюрен усматривал в графе Шароле прототип некоторых садовых либертенгов, связывая его эротическую практику с “психозом неполноценности” (*Psychose der Minderwertigkeit*), (E.Dühren. Neue Forschungen über den Marquis de Sade... S.41-42).

4. *ad infinitum* (лат.) — до бесконечности.

## Морис Бланшо. Сад

1. Перевод эссе М.Бланшо “Сад” выполнен по изданию: Maurice Blanchot. *Lautréamont et Sade*. P., éd. de Minuit, 1963, pp.19-75. Во введении к книге “Лотреамон и Сад” Бланшо высказывает ряд принципиальных для него мыслей о соотношении литературы и комментария. Критика, по его мнению, не является внешней самой литературе суждением о ее ценности, она неотделима от самого опыта возможности литературы. Опыт комментирования совершается в самоисчерпывании комментария, в его растворении как фигуры в акте интерпретации. Это пространство исчезновения уже принадлежит реальности литературного произведения, уже работает в нем, делая произведение одновременно возможным и невозможным. Сущностное несовпадение с самим собой составляет природу литературы, а не просто существо творчества Сада и Лотреамона. Из этого изначального несовпадения критик извлекает свое право на существование: “...когда она [критика — М.Р.] говорит, никогда не говорит именно она, она — ничто... Она — ничто, но это такое ничто, в котором произведение, молчаливое и невидимое, только и может быть тем, что оно есть. Критика — это пространство резонанса, в котором на мгновение превращается в речь неречевая, неопределенная реальность произведения.” (M.Blanchot. *Lautréamont et Sade*..., p.11.) Маркиз де Сад, с его философизацией литературного опыта и одновременной театрализацией опыта философствования в чистом виде, по Бланшо, являет заложенный в любой подлинной литературе “живой резерв пустоты”.

2. *Ad (l'enfer) bibliothek* — так в крупных французских библиотеках назывались помещения, в которых хранились запрещенные, недоступные основной массе читателей книги (примерно то же в советском словоупотреблении называется “спецхраном”). Книги Сада более полутора веков составляли неотъемлемую часть этого “ада”.

3. *Жан Полан* (1884-1968) — писатель и литературный критик, член Французской Академии (с 1963 г.). Ему принадлежит известное эссе о Саде “Маркиз де Сад и его сообщница”, одно из положений которого — “Жюстина — это сам Сад” — вызвало в свое время бурную

полемику. “В любопытной книжке Кребийона “Письма маркизы де М.” — писал Ж.Полан, — нежное чувство и ревность, потребность в любви и связанные с ним угрызения совести, желание и кокетство воссозданы очень проникновенно, настолько проникновенно, что ни на одной стадии этого повествования читатель не может толком понять, были ли маркиза и граф любовниками. “Жюстина” является полной противоположностью [такой литературы — М.Р.]. Любовные приключения Жюстины — столь же разнообразны, сколь и недобровольные — воспроизведены в мельчайших подробностях, но без какого-либо намека на то, какие чувства — желание, любовь, отвращение, безразличие — испытывала героиня. По правде говоря, об этом можно только догадываться. Но сам Сад о них прекрасно знает. Знает потому, что Жюстина это и есть сам Сад”. (J.Paulhan. *The Marquis de Sade and His Accomplice*. — in: *The Marquis de Sade. Justine, Philosophy in the Bedroom and Other Writings*, New York, Grove Press, 1965, p.35).

4. *Захер-Мазох, Леопольд фон* (1836—1895) — австрийский писатель, автор романа “Венера в мехах” и других произведений. В некоторых из них обрисован комплекс, связанный с получением наслаждения мужчиной от максимальной жестокости по отношению к нему со стороны женщины. В труде “Сексуальная психопатия” (1886) Крафт-Эбинг попытался дать научное обобщение литературной практики Захер-Мазоха, введя в употребление (прижившийся затем в психоанализе) термин “мазохизм”. Детальный сравнительный анализ текстов Захер-Мазоха и Сада был проведен Жилем Делёзом в его работе “Представление Захер-Мазоха” (1967).

5. Бланшо, видимо, имеет здесь в виду статью П.Клоссовски “Под маской атеизма” (философия Сада объявлялась там одной из радикальных форм негативной теологии), от многих положений которой сам автор позднее отказался.

6. *Bildungsroman* (нем.) (буквально: роман воспитания) — распространенная в XVIII—XIX вв. литературная форма с более или менее выраженной дидактической направленностью.

7. *N'est pas détruit qui veut* — “не разрушают по произволу” или “одного желания разрушать недостаточно”.

## Жорж Батай. Сад и обычный человек

1. Перевод сделан по изданию: Georges Bataille. *L'Érotisme*. P., 1957, Union Générale d'Éditions, pp.196-217. Хотя тексты Батая о Саде были написаны одновременно или даже несколько позднее работ Клоссовски и Бланшо, его философия — с ее понятиями суверенности, трансгрессии, чрезмерности и эротизма — оказала, пожалуй, решающее влияние на сам характер этой интерпретации (я разделяю мнение Ж.-Ж.Повера, что в случае Батая, Клоссовски и Бланшо речь идет о единой стратегии интерпретации Сада при довольно существенных тактических различиях).

В основе творчества Батая лежит “инцестуозное” прочтение Гегеля и Ницше (одного как другого и наоборот). Господин, по Гегелю, — тот кто рискует жизнью; это такое для-себя, которое не привязывается к

конкретному здесь-бытию, хотя остается привязанным к истории, труду, к тем, кто трудится и производит смысл. Самосознание господина остается продуктом его признания в движении истории и опосредования произведенными Другим вещами. По замечанию Жака Деррида, “сохранять жизнь, поддерживать себя в ней, работать, откладывать удовольствие... относиться к смерти с уважением в тот самый момент, когда ей надо заглянуть в лицо — таково рабское условие господства и истории, которую оно делает возможным”. (J.Derrida. *L'Écriture et la différence*. P., 1967, p.375). Этому миру внеположна только абстрактная негативность непосредственной смерти.

В этом пункте Батай делает свой основной философский ход (который, правда, катапультирует его за пределы философии): он объявляет абсолютную негативность смерти, экстаза, желания без цели, эроса и т.д. чистой позитивностью до представления, или *суверенностью*. Суверенность, утверждает он, внеположна знанию как миру опосредования и воспризнания.

Суверенность опирается на чистую случайность, поэтому философия Батая это философия оснований, а почему бы в таком случае не эротическая литература (Батай с гордостью называл себя “pornoграфом”) или не экономика чрезмерных трат (потлатч)?

2. Особая роль Сада в придании человеку статуса суверенного существа связана, по Батаю, не только с глубиной непризнания им принципа реальности и видением любой формы социальности как извращающей природу первоначальных человеческих импульсов, но и с позитивным утверждением самого фантазма как единственно реального, хотя и нереализуемого. Суверенность порывает с модусом здравого смысла, реальное радикально разводится с реализуемым.

3. *Бесцельная растрата*, — опираясь на “Опыт о даре” Марселя Мосса и на исследования Франца Боаса о северо-американских индейцах, Батай развил концепцию экономики бесцельных растрат (типа потлатча) как первичной по отношению к буржуазным экономикам, опирающимся на принцип предельной полезности и устремленным к максимуму прибыли при минимуме затрат. Батай неустанно настаивал на производности экономик, в основе которых лежит принцип рационального поведения производителя. Нетрудно проследить преемственность этих воззрений Батая с протестом самого Сада против попыток теоретиков естественного состояния превратить человека в изначально разумное — а у Руссо еще и доброе — существо.

## Жорж Батай. Суверенный человек Сада

1. Перевод выполнен по изданию: George Bataille. *L'Érotisme*. P., 1957, Union Générale d'Éditions, pp.182-195.

2. *Кинси, Альфред Чарльз* (1894—1956) — американский зоолог и врач, основатель Института сексуальных исследований при Индианском университете. Группа ученых под его руководством выпустила два нашумевших отчета (получивших название “отчетов Кинси”): “Сексуальное поведение мужчины” (1948) и “Сексуальное поведение

женщины” (1953). Батай посвятил анализу этих отчетов статью “Кинси, воровской мир и труд”, позднее вошедшую в его книгу “Эротизм”.

3. Буквально слово “трансгрессия” означает выход за пределы. Батай употребляет это слово в более узком, техническом смысле: трансгрессия в его понимании синонимична радикальному преодолению социальных запретов, непринятию во внимание, неучету целей рода в индивиде (примерно то же самое П.Клоссовски называет нарушением субординации жизненных функций).

## Симона де Бовуар. Нужно ли аутодафе?

1. Перевод сделан по изданию: Simone de Beauvoir. *Must We Burn Sade*. — in: The Marquis de Sade. *The 120 Days of Sodom and Other Writings*. New York, Grove Press, 1967, pp.35-64. Это единственный в данном издании текст, переведенный не с языка оригинала, но с английского перевода, выполненного Анетт Майклсон.

2. *Монтезке-Фезензак, Робер де* (1855—1921) — французский писатель конца XIX — начала XX вв., друг Марселя Пруста, послуживший ему прототипом барона де Шарлю в “Поисках утраченного времени”.

3. Дядя и воспитатель маркиза де Сада, аббат де Сад д'Эбрей, автор “Жизни Петрарки”.

4. *in absentia* (лат.). — заочно.

5. *Интенциональность* — одно из центральных понятий феноменологии — трактуется у Гуссерля как существенное свойство всех актов сознания, всегда являющегося сознанием чего-то, изначально направленным на предметность. Уже Ф.Бrentано, у которого Гуссерль позаимствовал этот термин, считал интенциональность, внутреннюю соотносительность с объектом, сущностным признаком всех психических феноменов.

6. Видимо С. де Бовуар имеет здесь в виду сообщение о том, что перед смертью Сад пригласил священника и причастился. Эти сведения дал один из врачей приюта Шарантон, где умер Сад.

7. *Шатле, Эмилия Лемонелье дю Бретей, маркиза де* (1706—1749) — одна из образованнейших женщин своего времени, автор ряда научных трактатов. Известна также своей любовной связью с Вольтером.

8. *Ретиф де ля Бретон* (настоящее имя Николая Ретиф, 1734—1806) — кроме нескольких романов написал книгу мемуаров “Господин Никола, или обнаженное человеческое сердце” (1794—1797). В одиннадцатом томе этого труда — кроме “Алины и Валькура”, “Философии в будуаре” и “Жюстины” — упоминается некая неопубликованная рукопись маркиза де Сада, носящая название “Теория либертинажа”. Если эта работа увидит свет, уверял он, она заставит величайших преступников содрогнуться. После краткого описания ужасов этой книги, Ретиф де ля Бретон восклицает: “Правительство, опереди этого негодяя! Если его книга попадет в руки солдатам, ужасной смертью умрут двадцать тысяч женщин” (цит. по: E.Dühren. *Neue*

Forschungen über Marquis de Sade..., S.386-387). "Теория либертинажа" упоминается и в шестнадцатом томе тех же мемуаров.

При этом осталось неясным, значит ли сообщение этого писателя, что Сад и после освобождения из Бастилии продолжал работу над "120 днями Содомы", идет ли речь о еще одном утраченном сочинении (которое, судя по сообщению де ля Бретона, должно было служить продолжением "Философии в будуаре") или же, наконец, само название "Теории либертинажа" является вымыслом мемуариста.

9. Речь здесь идет об одном из персонажей "Жюстины", хирурге Родене, который вместе со своим другом Ромбо готовился провести вивисекцию собственной дочери.

## Альбер Камю. Литератор

1. Перевод выполнен по книге: Albert Camus. L'Homme révolté. P., Gallimard, 1951, p.55-67. Эта книга недавно целиком выпущена на русском языке под названием "Бунтующий человек" (Москва, Политиздат, 1990), что делает воссоздание контекста интерпретации Сада Альбером Камю излишним.

2. *Реформатор Заме* — персонаж многоименного романа Сада "Алина и Валькур". С именем этого реформатора связана, пожалуй, единственная во всем творчестве Сада утопия добра, выдержанная в более или менее руссоистских тонах. На отдаленном острове в Южном море Заме реализует идеал полного равенства, приносящего всем людям счастье. Всем на острове владеет государство, что делает невозможными роскошь, различие сословий и религию откровения. Процветают исключительно "полезные искусства": земледелие, архитектура, изготовление одежды и т.д. Островитяне — вегетарианцы, мясная пища запрещена. Их воспитание монополизировано государством... Коротко говоря, эта утопия Сада представляет собой сложную смесь из Руссо, Платона и законов Ликурга.

3. Под "моральным бланкизмом" Сада Камю подразумевает его радикальный отказ считаться с общепринятой моралью и религиозными принципами (по аналогии с политическим бланкизмом, последователи которого были уверены в способности тайных обществ революционеров решить все социальные проблемы своими силами, без опоры на массы; образцом таких заговорщических организаций является у Сада "Общество друзей преступления", в которое Клервиль вводит Жюльетту).

4. *Башня Свободы* — одна из восьми башен Бастилии; именно в ней, на втором этаже, была камера, где с 1784 по 1789 г. находился в заключении маркиз де Сад. Из нее Сад 2 июля 1789 г. кричал парижанам, что в Бастилии убивают заключенных.

5. Подобная сухая бухгалтерия преступлений связана еще и с тем обстоятельством, что последние части текста "120 дней Содомы" дошли до нас в виде набросков, над которыми автор, видимо, собирался продолжать работать.

## Ролан Барт. Сад-I

1. Перевод выполнен по изданию: Roland Barthes. Sade-I. — in: Sade, Fourier, Loyola, P., Editions du Seuil, 1971, pp.22-42. В книге "Сад, Фурье, Лойола" основатель политической семиологии Р.Барт свел вместе фигуры, между которыми его предшественники видели мало общего. Барт предложил посмотреть на всех трех авторов как на основателей новых языков (логотетов). Пересекаясь с обычными языками, эти вновь изобретенные языки, тем не менее, нелингвистичны, не нацелены на коммуникацию, это — тексты. "При переходе от Сада к Фурье в осадок выпадает садизм, при переходе от Лойолы к Саду — разговор с Богом. В остальном перед нами то же письмо: одно и то же сладострастное классифицирование, то же пылкое расчленение (тела Христа, тела жертвы, человеческой души), та же одержимость вычислениями (подсчет грехов, пыток, страстей и самих ошибок в вычислениях), та же образная система... В атмосфере этих текстов нельзя дышать: удовольствие, счастье, коммуникацию они ставят в зависимость от порядка, который не терпит компромиссов. Поэтому все трое — проклятый писатель, великий утопист и католический святой — и объединены в одной книге" (ibid., p.7).

Общественную значимость этих текстов, заключает Барт предисловие к "Саду, Фурье, Лойоле", нельзя измерить ни шириной круга их читателей, ни верностью отражения общественных отношений; напротив, она связана с "неистойвой мощью, которая выталкивает их за пределы законов, которым подчиняют себя общество, идеология, философия..." (ibid., p.16).

Контрстриптиз у Сада, начинает Ролан Барт свой текст "Сад-2", противопоставит привычному мюзикхолльному эротизму, который сводит наслаждение к интимному треугольнику, превращая обнажение в высокую ценность. Этот лобковый треугольник и то, что за ним скрывается, напротив, маскируется у Сада как "место ужаса". Впрочем, женщина Сада — не мальчик, что хорошо поняли гомосексуалисты, не признавшие маркиза "своим". Почему именно женщина? Потому что в случае женщины можно "выбирать" между двумя "алтарями", передним и задним, напряжение создается ее двузначностью с вытекающей из нее возможностью выбора; это возбуждает эротически и текстурально. Мальчик, с этой точки зрения, менее интересен, так как в этом плане он как раз не биполярен.

"... романы, — продолжает Барт — можно классифицировать по обнаженности пищевого кода: у Пруста, Золя, Флобера всегда знаешь, что едят их персонажи, а у Фромантена, Лакло и даже Стендала — нет. Гастрономическая деталь разрывает рамки значения, она представляет собой загадочный привесок смысла. Гусь, которым объедается старик Галилей, является не просто активным символом его положения (Галилей вышел из игры, он только ест, за него скажут его книги), но еще и признаком нежного отношения Брехта к наслаждению. Та же функция меню у Сада (она "дисфункциональна"): ввести в мир распутника наслаждение (а не просто нарушение запрета)" (ibid., p.129).

Моделью эротики Сада является конвейер, сложно организованная машина (он приводит в пример восхищение Жюльетты, 300 раз удовлетворенной у Франкавила через анальное отверстие).

“Самая подрывная деятельность (контрцензура) заключается не обязательно в том, чтобы говорить нечто шокирующее для общественного мнения, закона, морали, полиции, а в том, чтобы изобрести парадоксальный дискурс (дискурс, свободный ото всякой *доксы*): революционным актом является *изобретение* (а не провокация); этот акт находит свое завершение в основании нового языка. Величие Сада не в том, что он прославил преступления, перверсии, даже не в том, что для этого он использовал радикальный язык; его величие — в изобретении безбрежного дискурса, основанного на своих собственных повторах (а не на повторах других), продуманного в деталях, с использованием путешествий, меню, портретов, топографий, имен собственных и т.д.” Короче, контрцензурой в его случае было превращение запрета в романность. (ibid., p.130).

“Красивые” описания тел у Сада банальны, зато, как правило, хороши отдельные части тела: ягодицы, половой орган, лицо. “Есть, однако, средство наделить эти бесцветные и совершенные тела текстуральным существованием. Это средство — театр (эта мысль пришла в голову автору этих строк во время выступления ряженных в одном парижском кабаре). Тело Сада в своей пресности, абстрактности... на самом деле является телом, увиденным издалека, телом на сцене, при свете юпитеров; это не более чем очень хорошо освещенное тело... и само это освещение стирает индивидуальность, остается чистая прелесть... В конце концов именно театральность этого абстрактного тела передается блестящими выражениями (вроде следующих: совершенное тело, превосходное тело, прямо с картинки), как если бы описание исчерпывалось театрализацией...” (ibid., p.132).

В социальном отношении мир Сада — мир Людовика XV (описанный, к примеру, в мемуарах Казановы); либертены, богатые аристократы и откупщики, противостоят жертвам, рекрутируемым, как правило, из низших классов. Но Сад — не социальный романист, он не описывает происходящее, не грезит на языке своего времени. “... эти отношения не переходят в роман сами по себе, как если бы речь шла о том, чтобы описать их в качестве референтов (чем занимался великий “социальный” романист Бальзак). Сад подходит к ним по-иному: не как к отражению, которое остается изобразить, а как к *подлежащей воспроизведению модели*. Воспроизведению где? В микрообществе самих либертенов. Последнее сконструировано как макет, как миниатюра; Сад *переносит* разделение на классы туда... социальный роман оставляет общественные отношения там, где они берут свое начало (таково общество в целом), но разменивает их на биографии отдельных лиц на манер анекдотов (коммерсант Цезарь Биротто, оцинковщик Купо). Роман же Сада берет *формулу* этих отношений, но переносит ее в другое место, в некое искусственное общество (то же самое сделал Брехт в своей “Трехгрошовой опере”). В первом случае имеет место *воспроизведение* в том смысле, какой это слово имеет в живописи и фотографии; во втором случае перед нами, если так можно выра-

зиться, *вос-производство*, повторное производство определенного объема действий (а не исторической “картины”). Отсюда следует, что роман Сада более реален, чем социальный (считающийся реалистическим) роман...” (ibid., p.135).

Бартом отмечается также чистая “денотативность” сексуальной лексики Сада, придающая ей сходство с алгоритмами науки. “Сытость”, необработанность этого языка способствует выработке внесмыслового дискурса, сопротивляющегося любой интерпретации, любому символизму; перед нами адамический язык, “язык без прибавки (такова основная поэтическая утопия)” (ibid., p.138).

“Однако прибавка в дискурсе Сада все же есть: оказывается его язык имеет свое *предназначение*... которое привлекает участника дебоша (распутника или жертву) к воображаемому языку. Прибавка — это Другой, и поскольку до Другого и вне Другого нет ни желания, ни дискурса, сырой (необработанный, неотделанный) язык Сада представляет собой утопическую часть его дискурса: здесь мы имеем редкую утопию, мужественную не потому, что она обнажает сексуальность, но он не *обязан* в силу того, что она ее натурализует, но из-за того обстоятельства, что она сохраняет веру в возможность бессубъектной лексики (однако и текст самого Сада ослабляется феноменологическим возвратом субъекта, автора: того, кто провозглашает “садизм” (ibid., p.138).

Текст Сада полностью создается работой языка, он без остатка дискурсивен. “Сад радикально противопоставляет язык реальности...” (ibid., p.141). Не случайно он с гордостью говорил о себе: “Да, я — развратник, признаюсь, я постиг все, что только можно в этом постичь, но я, уж конечно, не воплотил и не воплотил никогда всего мною постигнутого. Я — либертен, но я не преступник и не убийца”. “Книга оказывается “отрезанной” от реальности; никакое обязательство их не связывает: автор может до бесконечности говорить о своем произведении, но он не *обязан* давать никаких гарантий” (ibid., p.141).

“Итак, садовская рапсодия беспорядочно нанизывает путешествия, кражи, убийства, философские диссертации. Эта конструкция расстраивает парадигматическую структуру повествования (в соответствии с которой каждый эпизод должен иметь в дальнейшем некий “отголосок”, дополняющий или исправляющий его)... рапсодический роман (роман Сада) не имеет смысла, ничто не побуждает его развиваться, вызревать, заканчиваться” (ibid., p.144). “Жертва у Сада *не та (или не тот), кто что-то претерпевает, но это та (или тот), кто говорит на определенном языке*. Персонажи романа Сада — равно как и персонажи прустовского романа — делятся на классы не в соответствии с их практикой (способом действий), а в соответствии с их языком, точнее, в соответствии с их языковой практикой (несотделанной от любой реальной практики). Герои Сада являются *актерами языка*..., а что такое роман, как не новое повествование, в котором разделение труда (и классов) увенчивается разделением языков?” (ibid., p.148).

Диссертация, речь у Сада является одной из главных эротических ценностей наряду с кражей, “роскошной” едой и т.д.; слово у него

прямо эротизируется, соотносится с сексуальным действием. Сад и Фурье умеют так устроить пространство языка, таким образом расположить слово, найти такие геометрические соответствия, чтобы обеспечить лишенность смысла, развития и завершения (этих литературных ценностей, которых тщетно пытаются выдать за самую "литературность"). Наличие у них множества языков не дает конституироваться, "вертикализироваться" смысл.

"В любом обществе, видимо, соблюдается разделение языков, как если бы каждый из них представлял собой некую химически чистую субстанцию и не мог входить в контакт с языком, считающимся ему противоположным, без того, чтобы не произошел социальный взрыв. Сад же только тем и занимается, что производит такого рода метонимические взрывы. Как взрывную площадку он использует фразу (единицу языка — М.Р.), одновременно *достаточную* и *короткую*. В маленьком театре фразы великие помпезные стили, закодированные веками благонамеренной литературы, цитируются бок о бок с порнограммой: *максима* (о затворницах: "их связывает не добродетель, а сперма"), *лирическое обращение* ("Совокупляйтесь, о подруги мои, ибо вы рождены для этого").

Заметим, что речь для Сада идет об упразднении эстетического разделения языков, но это упразднение Сад осуществляет следуя не натуралистической модели, не (иллюзорно) обнажая на поверхности письма прямой, якобы документальный (народный), языковой пласт. Культура не может исчезнуть по мановению слова, ее можно всего лишь *расширять*... Таким деструктивным методом (методом смещенной цитации) и является *ирония* Сада" (ibid., p.152-153).

"...если роман Сада исходит из нашей литературы, то происходит это потому, что передвижения героев в нем имеют своей целью не поиск Единственного (сущности времени, истины, счастья), но повторение удовольствия; *непристойными* эти приключения делает не то, что они несут сладострастный и преступный характер, а то, что они ничем не примечательны и как бы незначительны, лишены какой-либо трансцендентности и окончания; они ничего не открывают, ничто не трансформируют, ничему не учат..." (ibid., p.153).

Что такое парадигма, как ни противопоставление терминов, которые не могут быть актуализованы в одно и то же время? В парадигме, по мнению Барта, уже заложена изрядная доля морали: "всему свое время", "не будем смешивать"; на ней же основан смысл, гарант закона, ясности, безопасности. Жертва у Сада желает закона, хочет смысла, уважает и соблюдает парадигму; распутник, напротив, занимается тем, что он их растягивает и тем самым разрушает. В силу того, что язык постулирует разделение разных видов прегрешений, распутник делает все возможное, чтобы смешать эти термины (совершить одновременно мизист и отцеубийство, или же вынудить другого совершить сразу оба эти прегрешения). Жертва, напротив, делает все возможное, чтобы противостоять этому беспорядку и отстоять разделение морфем преступления.

Будучи исторически переходным типом письма, письмо Сада двойственно. Во-первых, оно *изображает* (репрезентирует) живую карти-

ну, считаясь с тождеством в смысле классической живописи и литературы, которые ограничиваются *описанием* того, что уже было когда-то написано, того, что они именуют "реальностью"... Во-вторых, оно выходит за пределы репрезентации... Здесь дает о себе знать двусмысленность классического письма; будучи фигуративным, оно может изображать лишь объекты и сущности, расположенные в пространстве, тогда как объектом искусства (живописи, литературы) является неустанное обновление отношений этих объектов, т.е. *композиции*. Короче говоря, для того, чтобы стать "современным", этому письму нужно изобрести совершенно отличную от описания языковую процедуру и перейти, как того хотел Малларме, от живой картины к "сцене" (и к сценографии)" (ibid., p.159).

Никакое преступление невозможно вне языка как системы бинарных противопоставлений, оно возникает лишь в зоне таких противопоставлений, оппозиций типа отец/дочь (инцест), жена/муж (измена). Кусок теста, будучи назван гостией и использован в половых отношениях (т.е. не по назначению), подпадает под действие термина "святоотатство". Сад "громоздит" преступления, наслаждение измеряется у него числом преодоленных запретов. "Для того, чтобы соединить инцест, содомию, прелюбодеяние и святоотатство, — говорит Сад об одном из своих героев, — он засовывал в зад своей замужней дочери гостию". Механическое сложение у Сада поистине становится накоплением наслаждения.

Повествовательная структура стриптиза составляет причину, по которой Сад его избегает. Цель стриптиза — обнажение некой Загадки, а в мире Сада нет загадок, то мир совершенно "плоский" (в геометрическом и нравственном смысле слова), отрицающий развитие, завершение, вызревание. "Стриптиз, будучи повествованием, имеет ту же структуру, что и Откровение; он является составной частью западной герменевтики. Материализм Сада состоит в том, что на место языка тайны он ставит язык практики: сцена заканчивается не срыванием покрывала с истины (т.е. не обнаружением пола), а наслаждением" (ibid., p.162).

"Сладострастие, т.е. трансгрессии, необходимо присущ порядок. Порядок — это как раз то, что отличает трансгрессию от обычного протеста. Это связано с тем, что сладострастие является пространством обмена, обмена действия на удовольствие; "излишества" должны быть рентабельны, следовательно, их нужно подчинить экономии, а эта последняя должна быть планируемой. Во всяком случае садовский планификатор-распорядитель не является ни тираном, ни собственником, ни технократом; у него нет никакого постоянного права на тела своих партнеров, никакой особой компетенции, это — временный распорядитель, который не преминет присоединиться к только что составленной им сцене..." (ibid., p.164). Товар-удовольствие циркулирует не отягощенный прибавочной стоимостью, а распорядитель — как дирижер, который еще не выделился из ансамбля музыкантов — продолжает играть на скрипке или клавесине. Иногда место распорядителя занимает простая жеребьевка.

"Нам представляется, что Повествование как антропологическая

практика основывается на обмене: рассказ дается, понимается, структурируется за (или *в обмен на*) что-то, чьим *противовесом* он является" (ibid., p.165). Шахеразада рассказом завоевывает право на последний день жизни, в "Сарразине" Балзака платой за рассказ является ночь любви. Здесь сам рассказ сообщает нам о договоре, на котором он строится как жанр. То же, казалось бы, имеет место и в "120 днях Содомы": рассказчица Дюкло говорит в обмен на исключение из брутальных любовных практик, распространяющихся на всех остальных женщин, и в обмен на ее доставку в Париж живой и невредимой. "Но ничто не говорит в пользу того, что данный торжественный договор будет исполнен: чего может *стоить* обещание либертена, находящего сладострастное удовольствие в его нарушении? Итак, обмен растворяется: договор, на котором основывается рассказ, навечно заключается лишь для того, чтобы тем более верно быть нарушенным: знак в будущем ожидает измена, в которую тот попадает как в ловушку. А само это отступничество, разве оно возможно и желательно не потому лишь, что притворилось торжественно обменивающимися знаками, смыслом?" (ibid., p.166).

Нарушение взаимности в романах Сада объясняется тем, что место взаимности занимает реванш. "Сейчас, мой ангел, я жертва момента, а через миг преследовательница", — восклицает однажды Жюльетта. "Это скольжение обеспечивает имморальность человеческих отношений... отношения дружбы циркулируют (ими охвачены Жюльетта, Олимпия, Клервиль, Дюран), но главное, что все эротические связи имеют тенденцию ускользать от моногамной формулы: место *пары* занимает *цепь*... Смысл цепи сводится к утверждению бесконечного характера эротического языка (а разве сама фраза не представляет собой цепь?). Надо сделать так, чтобы удовольствие не возвращалось туда, где оно брало свое начало, надо распылить обмен... не возвращать тому, кто дал вам, и давать тому, кто вам не возвратит... Так как любая цепь является открытой, и насыщение носит лишь временный характер, в цепи не происходит ничего *внутреннего*" (ibid., p.169).

"Если я, — продолжает Барт, — утверждаю, что существует эротическая грамматика (порнограмматика) Сада с ее эротемами и правилами их сочетания — это не означает, что и я на манер грамматика располагаю какими-то особыми правами на текст Сада (на самом деле, кто разоблачит *воображаемое* наших лингвистов?). Я всего-навсего хочу сказать, что ритуалу Сада (структурированному им самим под названием *сцены*) должен отвечать (но не соответствовать) другой ритуал удовольствия: ритуал чтения, работа чтения. О работе речь идет потому, что отношение двух текстов не определяется простой референцией. Не истина движет моей рукой, но игра, истина игры. Как уже сказано, никакого метаязыка нет, точнее, есть много метаязыков, есть — как в слоенном тесте без ядра, без начинки — *язык о языке*, или еще лучше, — ни один язык не имеет преимущества перед другим — как в детской игре в ладошки" (ibid., p.169).

Аналоги многих "прекрасных" распутников Сада, например, Сен-Флорана из "Жюстины" — в жизни были, по Саду, отвратительными монстрами" (ibid., p.170). Реальность наглухо отделена от речи, их не

связывает никакая диалектика, никакой общий, т.е. здравый, смысл. Жизнь брутально загоняется Садам в примечания, набирается другим шрифтом, становясь отбросом текста. Удовольствие становится в зависимость не от закона, а от неуносимого соблюдения полностью безличного протокола: за законом стоит законодатель (или хотя бы истина), за протоколом скрывается пустота (т.е. текст).

Специфика трансгрессии Сада по сравнению с другими формами предельного опыта (хотя бы наркомания, видится Барту в следующем: "В качестве комбинаторики садовская эротика не является ни чувственной, ни мистической. Растворение субъекта заменяется его дифракцией [отклонением (термин из оптики) — М.Р.] (ibid., p.171).

"Можно, конечно, читать Сада, руководствуясь проектом насилия, но его можно — что он сам нам рекомендует делать — читать также, руководствуясь принципом деликатности. Утонченность Сада не является ни продуктом класса, ни атрибутом цивилизации, ни культурным стилем. Она состоит в мощи анализа и способности к наслаждению: анализ и наслаждение соединяются в непостижимой для нашего общества экзальтации, уже в силу этого представляющей собой самую грозную из утопий. Насилие прибегает к коду, которым люди пользовались на протяжении тысячелетий своей истории; возвращаться к насилию значит продолжать пользоваться тем же речевым кодом. Поступируемый Садам принцип деликатности может составить основу... абсолютного нового языка, неслыханной мутации, призванной подорвать (не перевернуть, а скорее, раздробить, распылить, разбить на куски) сам смысл наслаждения" (ibid., p.174).

2. *Фли-Бержер* — известное варьете в Париже.

## Даты жизни маркиза де Сада

1. Эти краткие сведения из жизни Сада были переведены Андреем Панибратцевым по подготовленному Жильбером Лели собранию "Избранных отрывков Донасьена-Альфонса-Франсуа маркиза де Сада" (Париж, Пьер Сергерс, 1948, с.XIV—LXI) и проверены мной по более полному своду биографических данных о Саде из американского издания его избранных сочинений.

В настоящее время мы располагаем двумя томами новой биографии Сада, подготовляемой Жан-Жаком Повером (впервые решившимся в 50-е гг. издать Сада под собственной фамилией, что вызвало его судебное преследование). Общее название этой серии книг "Живой Сад", пока свет увидели два тома (первый в 1986 году, второй в 1990 году), превышающие 1000 страниц ("Первобытная невинность, 1740—1777" и "Все, что можно в этом роде постичь... 1777—1793"). В перспективе выход в том же издательстве Робер Лафон третьего тома этой монументальной биографии, добавляющей большое число новых документов к архиву Сада и меняющей представление о многих сторонах его жизни.

Вот мнение Повера о работах двух его предшественников: "Морис Эне. Маркиз де Сад, Париж, 1950. Это сборник статей, предисловий и

набросков, которые должны были послужить материалом для его "Жизни маркиза де Сада", которой нас, к сожалению, лишила смерть автора в 1940 году.

Жильбер Лели. Жизнь Сада, Париж, 1953 и 1957. Переиздания этой биографии, пересмотренные, исправленные и сокращенные, продолжались до 1983 года. Упорный продолжатель Мориса Эне, Жильбер Лели — с помощью таких превосходных помощников, как Жорж Дома — собрал впечатляющую совокупность документов, к которым можно будет с большой пользой для себя обращаться до того времени, когда семья де Садов осуществит объявленные публикации".

2. Бриссо — содержательница одного из парижских публичных домов.

3. Подобные дома для увеселений, которые имели многие аристократы и богатые буржуа того времени, назывались "petites maisons" (буквально: "малыми домами", в отличие от "больших домов", в которых их владельцы жили со своими законными семьями). У Сада был такой дом в предместье Парижа, Аркее, куда он и привел в 1768 году нищую Розу Келлер.

Иногда эти дома были настоящими произведениями искусства. (Более подробно о них см. монографию Е.Дюрена "Новые исследования о маркизе де Саде и его времени").

4. *Lettre de cachet* — королевский указ о заточении без суда и следствия. По такому указу, выданному Людовиком XVI по просьбе его тещи, жены президента де Монтрей, Сад более десяти лет провёл в Венсеннском замке и Бастилии. Эти указы были отменены Национальной Ассамблеей в 1790 году как проявление абсолютистского произвола, и маркиз де Сад был выпущен на свободу.

• 5. Имеется в виду овладевшая Садам вначале его заключения в Венсеннском замке мания вычитывания из писем точной даты его будущего освобождения, которая якобы была зашифрована в определенном сочетании букв.

В 1992-93 году в составе международной коллекции "Философия по краям" выйдут в свет следующие книги:

• Михаил Ямпольский. *Память Тиресия*

В книге на материале кино, литературы, живописи исследуется проблема интертекстуальности.

• Валерий Подорога. *Выражение и смысл*

В книге анализируется творчество С.Киркегора, Ф.Ницше, М.Хайдеггера, М.Пруста, Ф.Кафки, С.Беккета и др. мыслителей и писателей XIX—XX вв.

• Маркиз де Сад. *Философия в будуаре*

Первое полное русское издание романа, снабженное научным комментарием.

• Михаил Рыклин. *Метаморфозы речевого зрения*

Книга посвящена проблемам современной визуальной культуры в двух ее главных разновидностях: зрение в ареале, где доминируют речевые практики (бывший советский, ныне русский ареал); зрение в его многочисленных западных постмодернистских модификациях.

“Философия по краям”

Международная коллекция современной мысли

Литература. Искусство. Политика

## Маркиз де Сад и XX век

Редактор *А.Т.Иванов*

Художник *Ю.А.Марков*

Художественный редактор *А. А. Верцайзер*

Технический редактор *А. Л. Снигиров*

Корректор *Н. С. Фомина*

Сдано в набор 20.12.91. Подписано в печать 30.03.92. Формат 84×108/32.  
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Условн. печ. л. 13,44.  
Уч. изд. л. 9,44. Тираж 50 000 экз. Заказ № 279 «С» 2. Изд. № 160. РИК  
“Культура”. 121835, Москва, Арбат, 35. Ордена Трудового Красного Знамени  
Тверской полиграфический комбинат Министерства печати и информации  
Российской Федерации. 170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.